

Василь Быков

Мертвым не больно

Василий Владимирович Быков

Книги, созданные белорусским прозаиком Василем Быковым, принесли ему мировую известность и признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад Великой Отечественной войны, прослужив в послевоенной армии, написав полсотни произведений, жестких, искренних и беспощадных, Василь Быков до самой своей смерти оставался «совестью» не только Белоруссии, но и каждого отдельного человека вне его национальной принадлежности.

Глава первая

Звонит телефон, и она берет трубку.

Мы враз притихаем. Навалившись на отполированный, широкий, точно прилавок, барьер, мы с нетерпением ждем ее слова, которое должно либо разочаровать нас, либо обрадовать. Вообще-то мы готовы ко всему, было бы только что-то окончательное. Хуже всего в жизни – неопределенность: она отнимает волю к действию. Но женщина, словно избегая того и другого, озабоченно хмурит тонкие подведенные брови. Минута внимания, торопливые отметки в бланках, что лежат перед ней на стекле, скупые профессиональные вопросы кажутся необыкновенно долгими. Наконец она отрывает от уха трубку.

– Товарищи, мест нет.

Над барьером – трудный, продолжительный вздох, разрозненные движения уставших от долгого стояния людей.

– И не будет?

– Не могу сказать.

Снова неопределенность? Жаль.

А гостиница добротная. Считаю, в самом центре. С одно-, двухместными номерами. Белокафельными ваннами. Зеркальной желтизной паркета. Царской ширины кроватями в номерах. В длинных, на целую улицу, коридорах такие же длинные мягкие дорожки. Между этажами снуют быстроходные лифты. Вежливые тети-горничные первыми здороваются с постояльцами. Такое запоминается. Особенно провинциалу, который раз в год попадает сюда по делам службы. Правда, немного пугает цена, к командировочным приходится добавлять из своего кармана. Но изредка это можно себе позволить. Тем более в годовщину Победы. К тому же выбирать не приходится – в других гостиницах давно уже ни одного места.

Вот только это ожидание...

Напротив за круглым столом освобождается стул (кто-то не выдержал), и я вылезая из очереди. Лысый, сутуловатый человек с «Известиями» делает за мной шаг вперед. Он побережет место, а мне уж неважно: ноет нога. Мой мучитель – протез – с первого же шага противно скрипит. Сосед сзади опускает газету. «Молодой, а гляди ты! Калека...» – наверняка думает он. Я отлично угадываю слова и мысли, которые возникают у людей при виде моего увечья, и мне это, признаться, довольно-таки осточертело. К своей незавидной судьбе я уже привык. Правда, за двадцать лет бывало всякое. Случалось, и мучился. В самом деле, еще подмывало припустить за мячом, как стал инвалидом.

Стараюсь ступать как можно ровнее. Кажется, получается лучше, во всяком случае тише. Но скользкий паркет выдает мою скованность, и опять – приглушенный скрип протеза. Жуликоватый на вид мастер, который его ремонтировал сегодня, говорил, что «притрется». Но вот не «притирается». За столом молодой парень в таком же пестром, как и на мне, пиджаке уважительно подбирает ноги.

– А вы бы ей документы показали. Зачем торчать в этой очереди?

Как всегда, от чужого сочувствия становится немного не по себе, и я бормочу что-то виновато-неразборчивое.

– Должны найти. Неужто для инвалида войны не найдут одного места? – говорит он и, нахмурившись, начинает приводить в порядок ногти.

Я не очень ловко опускаюсь на стул. И откуда ему известно, что я – инвалид войны? А может, несчастный случай? Нарушение правил техники безопасности? Хотя, конечно, выдает возраст...

Парень между тем держит себя так, будто больше меня не замечает. Все его эмоции скрыты под маской холодной сдержанности. Но я чувствую: ко мне он дружелюбен, только маскирует это свое чувство, так же как и любопытство. Почему-то в отношениях между мужчинами так принято, будто выдать свое расположение – слабость.

А мне он чем-то положительно нравится. Может, именно вот этой замкнутостью, которая всегда заставляет предполагать серьезность и независимость характера. Хотя молодости, пожалуй, больше импонирует искренность. Серьезность и характер приходят с годами, а у молодых подкупает открытость. У этого же сосредоточенное, не очень располагающее к себе лицо. Аккуратная свежая «канадка». На лацкане однобортного пиджака синий эмалевый ромбик. Ясно, технический вуз. Видно, какой-нибудь инженер, приехал издалека по делам производства. Дома молодая жена, ребенок, малогабаритная квартира где-нибудь на верхнем этаже в новом квартале. И, понятное дело, самая интересная в мире отрасль – электроника или радиотехника. Теперь это сфера увлечения многих. К сожалению, мы в таком возрасте занимались другим, потому и остались, по существу, недоучками. Хотя ничего не поделаешь: время было иное. Каждый мужчина мерил свою ценность солдатской меркой. Артиллерия, танки, авиация – думалось, это надолго, если не на всю жизнь. Но война порешила иначе. Сколько она отняла сил, засушила талантов. И вот результат – сельский культпросветработник. Сорок рублей зарплата.

Парень замечает мой взгляд и мое затаенное к нему любопытство. Дальше молчать нам уж просто неловко. Он вынимает из кармана пачку «Шипки» и привычным жестом протягивает ее мне:

– Курите?

– Нет, спасибо.

– Бросили или не начинали?

– Когда-то начинал, да помешало ранение.

В секундном недоумении он поглядывает на мои ноги, затем более продолжительным взглядом окидывает борты пиджака. Я его понимаю без слов: какая может быть связь между ранением и куревом? Но стоит ли упоминать еще и о ранении в грудь, которое чуть не окончилось для меня финалом? К тому же парень, наверно, ожидал увидеть на пиджаке орденские планки. Конечно, он человек образованный, кое-что читал про войну и, пожалуй, готов видеть во мне героя. Но оттого, что уже надоело объяснять все это, теперь я молчу. Парень прикуривает сигарету и круто поворачивается на стуле. Возле администратора начинается оживление. Не появились ли вдруг места?

Нет, кажется, тревога напрасная. В очередь пробует влезть какой-то простодушный дядька. Он в новой стеганке, с огромным чемоданом-сундуком и полной сеткой батончиков. Наверное, из деревни. Становиться в хвост очереди дядька не хочет и плечом и локтем пробует втиснуться между толстяком с пакетом под мышкой и человеком в кожаной куртке. Толстяк с опозданием поднимает тревогу:

– Куда лезете? Куда лезете? Вы где стояли?

– Ну стоял. Ну! А как же, если бы не стоял! Стоял. Что я, врать буду?

– Где, покажите, где вы стояли?

Дядька, видно по всему, нигде не стоял, но он во что бы то ни стало хочет занять место

поближе к администратору. К тому же он успел уже просунуть между людьми руку и вцепиться в никелированный бортик барьера. Теперь дядьку не сдвинуть. Многотерпеливой очереди это, ясное дело, не нравится, и она множеством глаз молчаливо осуждает нарушителя гостиничной этики. Из-за барьера в конфликт уверенно вступает администраторша.

– Дядька, а паспорт у вас есть? – искушенно бьет она в его самое уязвимое место.

Дядька растерянно переспрашивает:

– Кого?

– Паспорт! Паспорт, говорю, у вас есть?

Должно быть, понимая всю сложность своего положения, дядька старается выиграть время. Мнется, дергает плечом, лезет зачем-то в карман, сдвигает на затылок черную кепку. Но очередь ждет, и отвечать, хочешь не хочешь, надо.

– Паспорт? Да это самое... Какой паспорт? Паспорта нету.

– А что же вы лезете? У нас строгий паспортный режим. Мы вас не можем поселить без паспорта.

Дядька внимательно выслушивает женщину. Голос администраторши незлобивый, с нотками сочувствия, обмана не должно быть, и дядьку это повергает в смущение. На морщинистом лбу его бисером выступает пот. Минуту дядька раздумывает, но руки от барьера не отнимает. На всякий случай.

– Вам же русским языком объяснили! – нервничает толстяк. – Вы что, не понимаете? Это хамство, в конце концов.

Однако действительно похоже, что дядька не понимает или, может, не хочет понять. Тогда из очереди к нему выскакивает вертлявый, разбитной с виду человек. Всепонимающим взглядом гостиничного старожилы он бегло окидывает дядьку. Черный плащ на его плечах шуршит, как жестяной.

– Я сейчас ему разьясню. А ну, гражданин, чуток в сторонку, чтоб не мешать и так далее. Куда вы встречаете? Вы понимаете? Вы что же себе думаете? А вон, гляньте, милиция. Да не туда смотрите – вон, возле швейцара. Видите? Ну вот! Стоит доложить и... Понятно?

Дядька озабоченно посматривает то на человека в плаще, то на милиционера у входа и начинает оправдываться:

– Да я что?.. Я ничего. Думал...

– А вы не думайте! Вы выполняйте. Порядок положено выполнять. За нарушение порядка – уголовная ответственность. А как же вы думали?

Очередь снисходительно наблюдает за говоруном и дядькой. Это забавляет. Некоторые про себя улыбаются. Ишь, «заливает»! «Заливает» действительно неплохо. Видно, опытный спец по такого рода делам, так как дядька вскоре, оглядываясь, боком подается к выходу.

– Дремучий народ! – пожимает плечом человек и облокачивается на барьер. – Так и норовит обойти закон.

– Законник! – язвительно проговаривает мой сосед и вытягивает под столом ноги.

«Законник» откровенно плутовским взглядом снизу вверх окидывает администраторшу и налегает на барьер. Через минуту он уже сыплет там шутками. И все у него получается легко и просто. Со стороны кажется: весельчак-человек! Не то что остальные, в дремотном ожидании понуро стоящие возле барьера.

Мой сосед, однако, придерживается иного мнения.

– Развелось паразитов... Думаете, он так себе увивается? Тоже хочет без очереди влезть.

Разве не видно?

Кто его знает? Возможно, и так. Минуту я наблюдаю, как он распинается перед администраторшей. Но очередь молчит, ничего плохого не подозревая, и я отворачиваюсь.

Сосед откидывается на спинку стула.

– Приспособились, как микробы к антибиотикам. Ни уголовным кодексом, ни дружинниками, ни милицией – ничем их не проймешь.

Это, конечно, верно. Но мне как-то неловко хаять человека, которого совсем не знаешь. Парень подвигается на угол стола.

– Скажите, вот вы воевали. Неужто так же было? Или там все-таки по-другому с ними обращались?

Да, видно, на войне было несколько проще. Подлость там более заметна. Перед смертью, ясное дело, маскироваться труднее. Но такого рода типы приспособлялись и на войне. Парень с легким недоверием выслушивает меня, вздыхает и вдруг окончательно сбрасывает с себя маску отчужденности.

– И все же я завидую вам.

Это у него вырывается по-мальчишески просто и так естественно, что не оставляет никакого сомнения в искренности. И хотя я уже не первый раз слышу подобное, все же не могу не удивиться: чему люди завидуют? Знают ли они то, о чем говорят? Парень коротко поясняет:

– Вы если на что решались, так без оглядки. Не кривя душой. Если уж били, то размахнувшись – и до обуха!

Отчасти так, но на деле все было сложнее. На войне не слишком лицемерили, это правда. Но ударить на полный взмах не всегда удавалось. Были причины, которые придерживали за руку. Мой сосед курит, сквозь дым выжидательно поглядывает на меня. Я же молчу. Видно, надо ответить. Но одной фразой не обойтись. Нужен долгий разговор, который тут не к месту.

Глава вторая

В вестибюле приглушенный говор, стук дверей, то и дело доносится грохот машин с улицы. По ту сторону большущего окна безостановочно снуют люди. К вечеру на дворе потеплело. Унялся ветер. После долгих дождей распогодилось, подсохли тротуары. Кажется, началась несколько запоздавшая, но оттого еще более желанная весна.

Но вот в гостиничную суету врываются нездешние голоса – незнакомые слова, чужой напевный акцент. Несдержанный женский смех многих заставляет оглянуться. Толпа туристов, неторопливо вливаясь сквозь двери, заполняет просторный вестибюль. У подъезда за стеклянными дверями высится огромный, в эмали и никеле, заграничный автобус.

Возле барьера умолкают разговоры, лица поворачиваются к входу. Туристы не спеша, степенно и даже с какой-то ленцой вносят свои сумки, чемоданы, пледы. Усердствуют швейцары. На середине вестибюля, возле колонны, складывается багаж – целая гора из чемоданов. Мой сосед определяет:

– Французы! Нет, итальянцы! Хотите посмотреть?

Предусмотрительно оставив на стульях газеты, мы встаем и подходим к ним ближе. Туристы на нас не обращают никакого внимания. Они преисполнены собственных впечатлений. Изящные женщины в брюках и клешах и все в туфлях на острых шпильках смеются и курят. Роскошные черные, светлые, рыжие прически. Ярко накрашенные губы. Чернявые плечистые мужчины великодушно сдержанны, как мудрецы среди строптивых кокеток. Что ж – у них праздник: поездка, новая страна, про которую они столько наслышаны и теперь только ее увидели. Озабоченность и суету будней они оставили дома. Завидная черта характера – отграничивать будни от праздников, беспокойство от радости. У нас, к сожалению, так не получается. Видно, в нашей истории слишком много такого, о чем не просто забыть. И потому даже в годовщину Победы печать пережитого незримо лежит на нашем настроении.

Мы молча стоим возле гардероба. Мой сосед с любопытством всматривается в лица иностранцев. Это интересно – постигать скрытый смысл характеров. Но я и не пытаюсь. Французы, англичане, итальянцы для меня – закрытая книга. Их сущность где-то вне сферы моего понимания. Другое дело – немцы. С немцами мы пережили общее несчастье. Они нам причинили немало горя, но мы незлобивы: пусть живут на здоровье. Главное, чтоб в мире. За прошлое, сдается, мы расквитались.

Однако мы зазевались. Пока туристы толпились в ожидании чего-то, мимо нас быстрым шагом проходят один, другой – от барьера. В руках – знакомые бланки пропусков, кажется, появились места. Я круто оборачиваюсь назад и едва не сталкиваюсь с «законником». Он обдает меня жестяным шуршанием плаща и бежит к лифту. На лице озабоченность. Маску оживления и легкости он уже сбросил за ненадобностью. Я удивляюсь:

– Смотри, отхватил?

Парень иронически хмыкает:

– Ну! Я же говорил.

Мы подбегаем к очереди и конечно же опаздываем. Мест нашлось только четыре, и все они розданы. Четверо счастливых уже на этажах. В том числе и тот, без очереди.

Остальным опять ждать.

Одно место за столом пусто. На моем же сидит усталая с виду немолодая женщина.

Сосед, неловко потоптавшись, молча отходит к барьеру. Я опускаюсь на его стул.

Очередь возмущается. Особенно теперь, когда «законника» уже и след простыл. Когда он уже располагается в номере. А они спорят. Странные люди! Когда же он лез к администраторше, тогда все молчали, а теперь размахались руками.

– Безобразия!

– В книгу жалоб им записать!

– Хамство!

Особенно возмущается один. Кажется, ему едва не перепало место. Теперь он, надвинув на лоб зеленую велюровую шляпу, сердито топчется возле барьера. Длинные полы его легкого пальто широко распахнуты.

– Возмутительная наглость!

Сунув руки в карманы, он нервозно поворачивается от барьера и бросает на меня невидящий взгляд. И вдруг у меня перед глазами вздрагивает и расплывается горячий, знойный туман. Тугой колокольный удар в ушах миготом отбрасывает меня в прошлое. В смятённом сознании вспыхивает одно только слово – «Сахно». Нет, я не вспомнил этого человека, просто я никогда о нем не забывал. И теперь вот он – в пяти шагах от меня. Несколько обрюзгший с лица, бровастый и по-прежнему угрожающе-решительный. На голове небрежно надета шляпа. Китайское габардиновое пальто не застегнуто и низко свисает полами. На желтых ботинках лежат светлые обшлага брюк. «Широковаты», – замечаю я совершенно некстати. Окинув меня бессмысленным взглядом, он как ни в чем не бывало поворачивается к барьеру.

Мое вдруг напрягшееся тело расслабляется, и я съеживаюсь на стуле. Какой-то контролируемой частью сознания отмечаю, что растерялся. Никогда не думал, что так можно спасовать перед ним. Впрочем, я совершенно иначе представлял себе нашу с ним встречу. У меня на такой случай были приготовлены полные гнева слова, и вот – на тебе! Если бы он теперь подошел и ударил меня, пожалуй, я не нашелся бы, как ответить. Бывает, что наглость парализует. Теперь меня парализовал один вид этого человека.

Однако я все же овладеваю собой и в следующую минуту поднимаюсь со стула. Проклятый протез! Теперь он мешает. Теперь мне нужны железные ноги и стальные кулаки. Видно, на моем лице отражается что-то недоброе. Несколько человек в очереди с готовностью расступаются, и я боком прислоняюсь к барьеру. Я уже возле него. Безразличный ко мне, он гневно наступает на администраторшу:

– А если я за тысячу километров приехал. Так где я ночевать должен? Скажите, где?

– Это не мое дело.

– А чье дело? Вы для чего здесь сидите? – Он отстраняется от барьера и резко поворачивается: ему нужен союзник. – Слышали, не ее дело! Удивительная логика!

Мой вид, должно быть, его охлаждает. Он срывает шляпу и ладонью вытирает мокрую от пота полоску подкладки. Я дико гляжу в его обозленные глаза и чувствую, как горячая волна в моей груди постепенно остывает. Я узнаю и не узнаю. Черт, неужели ошибаюсь? Он с заметным животиком и довольно-таки лысоватый. Тот был при отличной строевой выправке, с жесткой шевелюрой на голове. Глаза наглые, слегка припухшие снизу – видно, пошаливают почки. Рост... Рост почти тот же, только этот гораздо тучнее.

Но ведь прошло двадцать лет.

Преодолев какое-то внутреннее оцепенение, я отхожу. Поодаль от всех расслабленно облокачиваюсь о барьер. Смятение и растерянность мои понемногу проходят. Исподлобья я

неотрывно наблюдаю за ним. Он или не он? Несколько опасаясь, чтобы он меня не узнал. Тогда наверняка скроется. Впрочем, узнать меня, пожалуй, не просто. В то время я был почти мальчишкой. Девятнадцатилетний младший лейтенант. К тому же я для него – убит.

А он не отстает от женщины-администратора. В край барьера вцепились его пальцы – короткие и толстые. Он вперяет в женщину тяжелый взгляд. Я видел его разным: угрожающим, растерянным и омерзительно угодливым. Теперь он обозленно-требователен. Женщина делает вид, что занята бумагами и не замечает его. Но не заметить его невозможно. Наверно, человек знает это и массивной глыбой возвышается над барьером. Уж он своего добьется.

Тягучий, надсадный звон в моей голове медленно отдаляется. Временами я теряю решимость. То кажется – окончательно и бесповоротно: он! То вдруг в его лице появляется что-то незнакомое мне, чужое, первый раз увиденное. Я не знаю, как поступить, и стою. На плечи гнетущей тяжестью ложится усталость.

В этом оцепенении проходит, пожалуй, немало времени, и в очереди выясняется, что мест больше не будет. Люди начинают расходиться. Кто-то предлагает: «Пошли посмотрим салют!» Кто-то не соглашается: «Лучше на вокзал, пока скамейки не заняли».

Очередь быстро редеет. Как-то нечаянно я теряю его из виду. Спohватившись, подхожу ближе, оглядываюсь, но его уже нет. Нет возле администратора, не видно в вестибюле. Как будто провалился сквозь землю. Чудно!

Я останавливаюсь перед барьером и ничего не соображаю. В душе такое чувство, будто по моей вине случилось непоправимое. Людей становится все меньше. Женщина из-за стола уходит, и оба стула пустуют. Как-то надо собраться с мыслями. Обидно, если все это только показалось. Столько душевных терзаний – и все прахом. А вдруг это он? Что тогда? Что я должен предпринять?

Надо бы все обдумать и что-то решить. Или, не раздумывая, догнать его, обратиться в милицию? Впрочем, милиция здесь ни при чем.

Наконец в вестибюле остается только администраторша за перегородкой и какой-то подвыпивший гуляка. Подпирая спиной колонну, он не может произнести ни слова и тупо смотрит в паркет.

Туристы куда-то ушли. Вестибюль тесно заставлен их чемоданами. Швейцары грузят их в лифт. У входа, возле телефона-автомата, переминаются с ноги на ногу девушка и парень. Звонить не звонят, похоже – выясняют отношения.

Туго бряцает входная дверь, и меня поглощает уличная суматоха. На тротуарах людно. Все куда-то идут, идут, идут – видно, к памятнику на площадь. В ясном предвечернем воздухе – горьковато-скипидарный запах тополиной листвы. Поредевший к вечеру поток машин изрыгает бензиновый чад. Кучка людей возле мороженщицы терпеливо дожидается своей очереди. Тут же бабка с пучком подснежников в старческих руках. Я бреду как лунатик. Начинает болеть голова. Всегда, когда разнервничаюсь, у меня болит голова. В карманах, к сожалению, никакой таблетки. Видно, надо бы где-то поискать пристанища. Но я почти ничего не замечаю. В растревоженной памяти будто весенним паводком начинают размываться напластования лет и событий. Отчетливо встающие образы воскрешают давнишнее и навеки памятное. Я уже знаю, что от него не отделаться. Его не залить водкой, не забыть в бесшабашном разгуле. Оно всегда в сердце, потому что оно – это я.

Глава третья

...Снег. Дорога. Колонна...

Мелькают сапоги, валенки, ботинки. Треплются на ветру заснеженные полы шинелей. Шуршат залубневшие промерзшие палатки.

– Старший лейтенант Кротов, в голову колонны!

Повторенная зычными, глухими и сиплыми от простуды голосами, катится по колонне команда. Последним ее выкрикивает кто-то из тех, что замыкают колонну передней роты. Выкрикивает и довольно оборачивается, словно для того, чтобы увидеть, какое впечатление на батальон произвел его надрывный, хриловатый, вовсе не командирский голос. Это совсем близко, и я, идя сзади, вижу немолодое, одутловатое от мороза лицо, стиснутое ушами завязанной под бородой шапки. Всмотриваясь, боец вытягивает из воротника морщинистую шею и останавливает на ком-то свой взгляд. Тогда и я оборачиваюсь. Командир шестой роты Кротов, опоясанный по телогрейке двумя кавалерийскими портупьями, будто не слыша вызова, с развальцой идет по сыпучему снегу обочины. Как всегда, в его темных недовольных глазах излишек командирской строгости.

– Вас – в голову колонны, – говорю я, решив, что ротный недослышал команды.

Кротов, однако, не взглянув на меня, угрюмо бросает:

– Слышу. Не оглох!

Колонна тем временем медленно останавливается. Задние еще устало бредут по растоптанному сотней ног сыпучему снегу, а передние уже спешат использовать неурочный коротенький перерыв и торопливо снимают с себя отяжелевшее за дорогу оружие. Прикладами в снег ставят длиннющие стволы ПТР, осторожно, рукоятками вниз опускают на землю грузные тела «максимов». Минометчики с явным облегчением сбрасывают с плеч тяжелые ребристые плахи опорных плит. И вот уже кто-то блаженно разваливается на нетронutom снегу полевой обочины, кто-то бредет по нужде в заросли кукурузы, что широким клином подступает к дороге. В предвечерних сумерках над заснеженной степью веет сладковатым, удивительно ароматным и домовитым дымком махорки.

– Ну что ж, перекурим это дело, – говорит все тот же немолодой, видно, старательный боец и с сознанием заслуженного отдыха сворачивает на обочину. Помятые полы его шинели аккуратно подоткнуты, на спине, пристегнутая к вещмешку, пока без надобности болтается каска. Сегодня меня невольно занимают головные уборы, хотя я наверняка знаю, что ни каска, ни шапка мне не подойдут: надо было думать о том раньше. Но раньше о каске я мало заботился, и осколок от немецкого снаряда кромсанул меня по затылку. Правда, ничего страшного не случилось, только после перевязки оказалось, что шапка поверх бинтов не налазит, а каска причиняет боль. Так я и остался с замотанной бинтами головой. На беду санинструктор не смекнул заодно забинтовать и уши, которые прошлой ночью изрядно прихватил морозец.

Я тоже схожу на обочину, туда, где стоит пулеметчик из третьего взвода нашей роты с удивительно незапоминающейся фамилией. Это – молодой подвижный боец в низко накрученных обмотках. Зачерпнув серой домашней варежкой чистого снега, он с наслаждением сосет его, поглядывая вокруг живыми глазами. Другой рукой парень придерживает опущенного прикладом на дорогу «Дегтярева».

– Видно, шестую роту в ГПЗ? – говорит он. – Теперь, считай, все трофейчики ихние.

И, сдвинув на затылок шапку, снова черпает снегу. Белобрысое лицо его таит любопытство и сдержанное мальчишеское добродушие. Я молчу. Тот, старший из четвертой роты, также подходит к нам и лаконично соглашается:

– Да, повезло этим...

Он шарит руками в карманах, по-видимому, доставая кисет и провожая взглядом четверых разведчиков, что торопливо идут куда-то в хвост колонны. Разведчики в белых перепачканных маскхалатах, поверх которых висят автоматы и брезентовые сумки с магазинами. Хлопцы заметно спешат, и вид у всех недовольный. Наверно, где-то не ладится с разведкой.

– Марухов, привет! – бросает пулеметчик, узнав среди них знакомого. – Что, шестую в ГПЗ?

– Какой черт – ГПЗ! – зло ворчит передний. – Кротову шею мылят.

Пулеметчик в сдвинутой шапке от удивления раскрывает рот. На его высунутом языке – снег.

– Наверно, за Ивановку? Ага?

– Ага.

– Ну и ну! – говорит пожилой, держа в заскорузлых пальцах кисет с кресалом. – Коли за Ивановку, то похоже – всыпят.

Он начинает скручивать сигарку. В недоуменном любопытстве умолкают бойцы. Кто-то за моей спиной охотно подтверждает:

– Знамое дело. Не первый раз.

Они только догадываются, а я уже с утра размышляю над всем этим делом. Еще на рассвете в Большую Северинку к комбату приезжал особист Сахно. Запершись в хате, они долго обсуждали что-то, вызывали бойцов и сержантов, потом Сахно уехал. Но вот четверть часа назад вдоль колонны проскакал на коне старшина Шашок – ординарец, вестовой или, как там его называют, словом, писарь из штаба. Не остановившись, он спросил у меня, где комбат, и я махнул рукой туда, в голову колонны. Видно, потому и остановили батальон в степи. Кажется, в самом деле этому Кротову несдобровать.

Пулеметчик тем временем утоляет жажду и обивает одну о другую рукавицы.

– Эй, бомболовы! – озорно кричит он бойцам шестой роты. (Их у нас еще с Курской дуги зовут бомболовами, хотя мало кто уже и помнит, что означает это прозвище.) – Через левое плечо кругом марш! В штрафную!

Однако шестая не хочет оставаться в долгу.

– Ага, в штрафную! А кто же тогда вас будет от танков спасать?!

Это – всем понятный намек. Неделю назад шестая фланговым огнем крепко помогла нашей роте, которую атаковали немецкие танки с пехотой.

– Тоже нашлись спасители! Вы ж побратались! – въедливо упрекает пулеметчик.

Но это уж слишком, и я оборачиваюсь к бойцу:

– Ну-ну! Хватит!

Пулеметчик неловко щурится, чувствуя, что переборщил, и мне хочется напомнить ему что-то вроде: «Шути, да знай меру». Однако спереди доносится новая команда:

– Младший лейтенант Василевич, в голову колонны!

Это уже меня. Но зачем? Вроде бы я не замешан в таких малоприятных делах, как Кротов, рота которого недавно заночевала в одном селе с немцами. Случилось так, что «бомболовы» мирно проспали ночь и увидели фашистов только утром, когда те,

выстроившись в колонну, подались себе на большак. По крайней мере так рассказывают бойцы. Начальство же, видно, имеет на сей счет иное мнение.

– Ну что! Ага, сами влипли! – услышав команду, начинают злорадно кричать из шестой.

– Нам не за что! А вот вы...

– А ну прекратите! – приказываю я пулеметчику.

За головами бойцов слышится нетерпеливый голос самого комбата:

– Василевич! Тебя долго ждать?

– Иду, иду!

Придерживая на груди ППС, я устало бегу размятой дорогой. Я не могу позволить себе по вызову идти шагом. Из всех ротных в батальоне я самый младший – и по годам, и по званию. Видно, по этой причине мне от комбата достается больше других, и потому я вынужден всегда поторапливаться.

Комбат сидит на бугорке возле межевого столбика и мерзлым кукурузным стеблем ковыряет в снегу. Рядом, шурша на коленях картой, пристраивается наш усатый начштаба. Напротив стоит мрачный темнолицый Кротов, а чуть в сторонке, держа за поводья усталого коня, ждет чего-то старшина Шашок. Новенькая, из сизого комсоставского сукна шинелка плотно облегает его широкую спину.

– Ну, как голова? – коротко взглянув на меня, спрашивает комбат.

– Ничего.

– А уши? Спеклись, наверно?

– Немного, – осторожно отвечаю я, не совсем схватывая суть его несколько необычных вопросов. Но чувствую, что это неспроста.

– Пойдете в санчасть, – объявляет комбат и бьет стеблем по снегу. Снежная мелочь летит на мои сапоги, попадает начштабу на карту, и тот с досадой стряхивает ее покрасневшей ладонью.

– Товарищ капитан, – пытаюсь возразить я, но комбат не хочет меня и слушать. Как и все командиры на свете, он не любит чужих возражений.

– Пойдешь в тыл. Все равно с такой головой – не вояка.

– Так ведь в роте никого не останется. Вы же знаете.

– Знаю. Завтра Басмак придет. А пока старшина Дорофеев покомандует.

Известное дело, наш старшина может покомандовать и сегодня и завтра, человек он самостоятельный и стреляный. И все-таки мне вовсе не хочется покидать роту и отправляться в санчасть. Если бы он послал меня туда днем раньше, хотя бы прошлой ночью, когда мы мерзли под огнем в снегу после неудачной атаки. А то легко ему теперь ставить на роту старшину, когда части входят в прорыв, огибают немецкие фланги, и уже вон он, Кировоград. Днем из Северинки видны были его пригороды, дымь пожаров и высокие строения, которые штурмовали наши «ИЛы».

– Вот с Кротовым и пойдете, – говорит комбат, кивая головой в сторону командира шестой роты. Тот стоит черный, как земля, и не глядит на людей. – Да еще этих субчиков прихватите. Заодно, чтоб конвоиров не посылать.

Это он про трех немцев, которые плечом к плечу замерли напротив и настороженно поглядывают на начальство. Один из них – простоволосый, без шапки крепьщ, второй – без шинели, в мундирчике, с отвисшими карманами и большими профессорскими очками. Третий – пожилой, нерасторопный толстяк, простуженно оттирает красный распухший нос. Веселая компания, черт бы ее побрал, думаю я. Удружил комбат, нечего сказать. Комбат же,

нарочито не замечая моего неудовольствия, так же как и мрачного вида Кротова, достает из кармана алюминиевый портсигар, густо испещренный резьбой.

– Угощайтесь, старшина, – протягивает он портсигар Шашку.

Тот не заставляет себя уговаривать, делает шаг навстречу и жестом равного берет папиросу. Потом к портсигару тянется рука начштаба. Кротов из-под нахмуренных бровей поблескивает злым взглядом, как мне кажется, тяжело, осуждающе вздыхает. Нам папирос комбат не предлагает. Они втроем молча прикуривают, и старшина, отставив в сторону обутую в немецкий валенок ногу, сквозь дым косится на меня одним глазом.

– Ты что же это, младшой, с таким скрипом приказ выполняешь?

Я поглядываю в его самоуверенное начальническое лицо и, сдерживая в себе злость, молчу. Какое ему, в конце концов, дело, и кто он такой, чтобы делать мне замечания?

Кротов, которого занимают свои заботы, нервно оборачивается к комбату:

– Так мне что? Роту сдавать, или как?

Комбат морщит лоб и старательно раскуривает папиросу.

– Ну почему сдавать? Что это вы уж... Сразу в панику...

– Роты пока не сдавать, – уверенно объявляет старшина, и комбат вслед за ним подтверждает:

– Да, пока не сдавать. Нет такого приказа.

– Дело ясное, – мрачно вздыхает Кротов. – Дело ясное, что дело темное. Ну и черт с ним!

Пусть!

Он отчаянно ругается и отходит в сторону, угрюмым видом давая понять, что безразличен ко всему и ничего не боится. Комбат встает с бугра и вытягивает голову, заглядывая в хвост колонны.

– Ну, где там Косенко? Не дождешься, черт побери!

Косенко, которого он ждет, – командир взвода разведки, и я начинаю думать, что, возможно, и его пошлют в тыл полка. С Косенко, конечно, было бы веселей. Парень он решительный и разговорчивый. Только вряд ли его направят с нами – теперь, когда идет наступление, он нужен здесь, впереди.

Тем временем над степью начинает темнеть. Стихает в зимнем небе гул самолетов, становится явственнее шелест кукурузы на ветру. К ночи сильнее донимает мороз, и я поднимаю воротник шинелки. Уши мои теперь как термометр – чутко реагируют на каждый градус похолодания. То и дело трещь их. Не хватало заботы.

Комбат ждет. Однако вместо Косенко на дороге появляется разведчик, который, лихо щелкнув каблуками, останавливается перед начальством.

– Товарищ капитан, лейтенант Косенко коня не дают.

Комбат недоуменно скидывает русые брови:

– Как это – не дают?

– Не дают, и все. Говорят, хутор надо разведать. Хуторок там впереди.

– Хутор, хутор. Вот и на этом разведает, – тычет он будылиной в сторону коня старшины. – Чем не рысак? А то еще хорохорится. Тоже мне кавалерист!

Разведчик переступает с ноги на ногу. На его круглом, раскрасневшемся лице ни тени смущения – мол, мне что: лейтенант не дает, а я тут при чем? Но комбат, кажется, этого не понимает и, хмурясь, строго оглядывает бойца.

– Они говорят, пусть старшина Шашок на своей дохлятине и ездит, коли лучшего не умеет приобрести.

– Вы мне оставьте эти разговорчики! – распаляется комбат и с силой тычет стеблем кукурузы в снег. – Я приказываю! А его дело исполнять. Понял?

– Я-то понял, – охотно соглашается разведчик.

– Так исполняйте!

Рядом стоят, слушая эту не совсем обычную ссору, бойцы, зябко перестукивают каблуками немцы. То на комбата, то на разведчика выжидающе поглядывает старшина. Я терпеливо жду и думаю, что коник Косенко уже, видно, сдох. А ничего себе был трофейный рысачок в белых чулочках на передних ногах. Однако недолго погарцевал на нем взводный. Раз уж тем приглянулся, то пиши пропало, рано иль поздно отберут. На это они мастера.

Краем глаза я замечаю, как старшина строго поджимает тонкие на мясистом лице губы и что-то решительное появляется в его глазах. И тут он поворачивается ко мне:

– Ладно, вы идите. Берите тех, – кивает он на немцев, – и дуйте напрямки. Я догоню.

Он говорит это почти по-приятельски, и я не знаю, как понимать его: то ли это заявка на дружбу, то ли он, возможно, видит во мне здесь старшего. Но ведь Кротов старше меня по званию и должность у него постоянная, не то что у меня, временного ротного. Я вопросительно поглядываю на комбата, тот недовольно бросает «идите», и я поворачиваюсь к озябшим немцам:

– А ну марш! Марш, фрицуки пархатые!

Глава четвертая

Через минуту мы идем в кукурузе по следу глубоко вдавленных в снег танковых гусениц: Кротов и я – по правой колее, а немцы напротив – по левой. Кротов никак не может примириться со снятием его с должности и зло, в три этажа ругается. Гнев его, как и всегда, имеет определенный адрес и теперь направлен против комбата.

– Обормот! Лакейская морда!..

Немцы покорно шагают рядом – очкастый в мундирчике впереди, за ним тот, что без шапки, – мрачный чернобровый парень, внешностью вовсе не похожий на немца. Пожилой же с трудом ковыляет сзади, то и дело отстает, шмыгая большим простуженным носом. К плену он хорошо подготовился, сразу узнаешь хозяйственного человека – на ремне котелок, фляжка, через плечо перекинута свернутое в скатку одеяло, на боку висит, похожая на охотничий ягдташ, брезентовая сумка. Не удивительно, что и отстает с таким грузом, и я, время от времени оглядываясь, с нарочитой строгостью покрикиваю:

– Шнель! Шнель, фриц!

Передний в очках также поворачивается и, будто старший среди них, что-то лопочет последнему. Я понимаю только:

– Шнеллер, камараде...

Пожилой несколько ускоряет шаг, разбрасывая коленями заснеженные полы шинели, и ворчит про себя. Кажется мне, в том смысле, что, мол, хорошо тебе, молодому, легко одетому, а я уморился уже, хочу закурить, да и вообще по самое горло сыт войной и фашизмом. Это вполне естественно для него, так как год уже сорок четвертый и немцы на фронте далеко не те, что были в сорок первом.

Передний чем-то похож на унтера, хотя китель на нем без всяких знаков различия. Лицо у него продолговатое, в меру худощавое, с прямым носом и широким лбом – типичное немецкое лицо с сильно развитой нижней челюстью. Под толстыми стеклами очков – настоженные, но, кажется, рассудительные, без злобы глаза. Простоволосый же, что идет следом, выглядит уж очень унылым и мрачным. За все время он не произнес ни единого слова и ни разу не взглянул ни на кого.

Кротов с виду явно безразличен к пленным и то помолчит, то снова начинает ругаться:

– Чуть что из полка – и он уже на задние лапки. Своего мнения не имеет...

Мне кажется, это напрасно. Не такой уж комбат наш и угодливый, каким его представляет теперь обиженный ротный, – просто перед старшими пасует малость, как, впрочем, и многие в армии. Желая несколько смягчить его гнев, я обнадеживаю Кротова.

– Может, надолго не задержат там, – говорю я, имея в виду полковой штаб, куда его вызывают. – Напишите объяснительную и завтра будете в роте.

– А мне наплевать! Пусть задерживают. Что мне, в тылу хуже, чем на передовой? Я о том, почему они придираются с дуру.

– Бдительность.

– Бдительность! Дурость это, а не бдительность. Делать ему нечего, этому бабнику, вот он и цепляется. Ну влезли впотьмах в деревню, не разглядели, не разведали. Так что тут особенного? Что в этом преступного? Ведь ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи пообморозились? Или, как тот дурень Сарафьянов, за два дня всю роту уложил? – рассуждает Кротов, уже не оглядываясь на меня.

Я молча несу на плече свой ППС, глядя на сапоги ротного, которые мнут туго спрессованный снег гусеничного следа. Походка у Кротова энергичная и легкая, какая бывает только у закаленных пехотинцев. Старший лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой через шею, и он в гневе широко размахивает ими.

– Приказано атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его за это в особый отдел не потащат!

Да, за это, пожалуй, не потащат, соглашаюсь я. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что Сарафьянов набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать из батальона? Но комбат наш все же не такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не трус. Разве что излишне тянется перед начальством. Однако в армии таких принято считать дисциплинированными.

Кротов, будто угадав мои мысли, возражает:

– Дисциплинированный. Перед каким-то там старшиной расшаркивается, папиросочками угощает. Забыл, что и капитан, что и командир батальона. И если подумать, кто этот старшина? Холуй, самый настоящий.

Я молча вздыхаю. Да, конечно, старшина – невелика шишка, штабной писарь, но вся беда в том, что писарь не простой, не из какой-нибудь хозчасти или финсектора, а помощник и доверенное лицо капитана Сахно.

На повороте танковой колеи я оглядываюсь. Мы прошли по кукурузе уже далеко, батальонная колонна без следа исчезла в вечерней степи. Шашка почему-то нигде не видать. Но ведь старшина догонит, это нетрудно по хорошо приметному следу, а ночь обещает быть светлой. Еще не успело стемнеть, а на безоблачном морозном небе уже всюю светит цыганское солнце – месяц. Хуже вот, что третий, пожилой, немец все время отстает, видно, уморился и на мое строгое «шнель» почти не реагирует. Тогда я бросаю Кротову: «Стой!» Надо подождать, так как все же настает ночь и я, признаться, немного беспокоюсь, как бы этот фриц ненароком не шмыгнул в кукурузу. Старший лейтенант недовольно останавливается, охотно прекращают шаг немцы, и все мы ждем, пока добредет по колее их «камарад». Кротов, наверное, уже примирился с моим тут командирством, и все же, чтобы смягчить некоторую неловкость, я достаю из кармана два сухаря.

– Хотите погрызть?

Завтракали мы на рассвете еще в Северинке, уже крепко проголодались за день, и потому сухарь кажется необычайно вкусным. Я слышу, как Кротов с наслаждением откусывает от него, и с полминуты мы сосредоточенно грызем жесткие куски. Потом невольно поглядываем на немцев, стоящих напротив, и перехватываем пристальный взгляд очкастого. Жесткий кадык на его длинной шее скользит вверх и вниз. Кротов перестает жевать.

– Что, доняло? – будто впервые заметив пленного, язвительно говорит он. – Навоевался, собачий сын? Жрать захотелось? Держи!

Старший лейтенант разламывает сухарь и бросает кусок очкастому. Тот, сноровисто подхватив его, с удовольствием вгрызается зубами. Рядом сдержанно стоит второй, без шапки, и я засовываю руку в карман. Там еще один кусок сухаря, последний из моей сегодняшней нормы, и я не без сожаления протягиваю его через дорогу. Немец секунду медлит, потом берет сухарь и, оставив нижнюю губу, неопределенно чмыхает. Я не успеваю сообразить, в чем дело, как он коротким взмахом через плечо швыряет сухарь в кукурузу.

Кротов перестает жевать. Какое-то время он молчит с желваком за щекой, потом, изломив одну бровь, шагает между колеями в снег:

– А ну подбери!

Немец, насупившись, молчит и не трогается с места.

– Подбери, гнида! – жестко приказывает Кротов и, выждав, коротко бьет его в челюсть.

Пошатнувшись, тот, однако, удерживается на ногах, и старший лейтенант кричит почти в бешенстве:

– Сволочи! Вши ползучие! Мою деревню сожгли! Из-за вас меня начальство таскает! На еще, гад!

Немец снова отшатывается, хватаясь рукой за щеку, но так ничего и не произнес. Своенравное упрямство его и во мне отзывается неподвластной озлобленной вспышкой. Какая-то животная ненависть так и подмывает захватить ему по морде, как это сделал Кротов, и я, чувствуя, что не сдержусь, делаю шаг к Кротову:

– Ладно. Оставьте его!

Пожилый тем временем догоняет нас и, видно смекнув в чем дело, услужливо лезет в кукурузу. Сдунув с сухаря снег, он почтительно подносит его разъяренному Кротову. Тот бьет немца по руке, и сухарь отлетает в снег еще дальше.

– Прочь! Прочь, гады! Я вас всех сейчас!..

Ротный хватается за кобуру на ремне, и я едва успеваю остановить его:

– Бросьте! Ну их к чертовой матери.

Смерив всех троих ненавидящим взглядом, Кротов неохотно переходит в правую колею.

Вот же гад фашистский, думаю я, приотстав и украдкой наблюдая за немцем. Волосы у того черные, жесткие, к ушам он и не притронется, будто и не ощущает мороза. За всю дорогу не произнес ни одного слова, ни разу не взглянул на нас. Во всей его фигуре чувствуется опасный, затаившийся враг. После случая с сухарем я невольно настораживаюсь и передвигаю свой ППС на грудь: мало ли что еще может выкинуть этот злыдень!

Степь затихает к ночи, но все же множество неясных разрозненных звуков свидетельствует о присутствии вокруг огромной силы войны. Идет наступление. Отзвуки его то и дело доносятся до слуха приглушенным танковым гулом, конским ржанием, далекими взрывами. Где-то на юге, за Кировоградом, пылает край неба: огненное зарево на небосклоне то ширится, разгораясь, то медленно притухает. Откуда-то долетают невнятные голоса людей, наверно, поблизости проходит дорога. Всюду в степи движение, выстрелы, люди. Из кукурузы, правда, мы не много вокруг себя видим...

Глава пятая

Шашок догоняет нас, когда уже устанавливается ночь и в высоком январском небе с острым блеском густо высыпают звезды. В полную силу светит луна. В степи светло, хоть собирай иголки. Густые синие тени неслышно скользят за нами. Тускло сереет кукурузное поле. На краю его мы с Кротовым замечаем подвижную тень. Коня почти не видно в кукурузных зарослях, но над стеблями скользит силуэт всадника. Мы останавливаемся и ждем.

– Фу, думал, не догоню, – с заметным облегчением, что наконец избавился от одиночества в ночном поле, говорит Шашок и придерживает коня. – Ну как, не разбежались фрицы?

– Не разбегутся, – говорю я.

Старшина направляет коня по левой колее и вплотную подъезжает к немцам. Кротов на ходу оглядывается (кажется, он стал спокойнее) и присматривается к всаднику и его лошади.

– Ну что, не откололось?

– Не откололось, – охотно отвечает Шашок. – Заупрямился разведчик. Не хотелось скандал учинять.

Все ясно: Шашок на той самой мухортой лошадке, на которой и приехал в батальон. Значит, Косенко проявил характер до конца. Он такой, наш лейтенант-разведчик!

– Я бы тому коню – лучше пулю в ухо, чем вам отдавать, – говорит Кротов.

Шашок не отвечает, пропуская мимо ушей открыто неприязненную реплику, и развязно кричит на немцев:

– Шнель! Шнель, вашу мать! Затопчу, фашисты!

Он и в самом деле подстегивает поводьями коня. Задний немец пугливо выволакивается из колеи, простоволосый едва уклоняется от лошадиных ног. Старшина довольно хохочет.

– Фашисты, такую вашу!.. Уступай дорогу русскому воину!

– А ну кончай! – строго оглядывается Кротов. – Сперва в плен возьми, а потом будешь конем топтать.

Шашок настороженно притихает.

– А вам что, жалко?

– Не жалко, а гадко!

– Значит, защищаете? Немцев защищаете?

– Пошел ты к черту! – взрывается Кротов. – Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас!

– Так, так! – многозначительно говорит Шашок и осаживает лошадь.

Немцы переглядываются, видно что-то поняв из этой перебранки, и мне становится неловко: нашли место ругаться! Но это все Кротов. Конечно, он злой, расстроенный, и потому недалеко и до скандала.

Только я напрасно тревожусь, поругаться как следует они не успевают. На очередном повороте колеи в кукурузе нам встречаются люди.

Это связисты. Обвешанные катушками с кабелем, телефонными аппаратами и с оружием на груди, они, завидя нас, испуганно бросаются из колеи. Потом, видно признав в нас своих, несмело выходят из редкой кукурузы и выжидающе застывают на дороге. Взгляды всех четверых почему-то опасливо направлены в сторону.

– Что такое? – спрашивает Кротов:

Связисты топчутся на месте, движения у них робкие, голоса притишенно встревоженные.

– Там немцы, – наконец сообщает один с карабином на шее.

– Чуть не напоролись, – охотнее добавляет второй, не отводя взгляда от сумеречных кукурузных зарослей.

Двое других молча вглядываются в ночь. Я также всматриваюсь в том направлении, но нигде ничего не вижу. Кажется, повсюду все та же густо исчерченная тенями кукуруза, сверкающее звездами небо и сонная тишина.

– А в штанах у вас еще не того? – вглядевшись в ночь, с издевкой спрашивает Кротов.

– Ей-богу, товарищ командир, – испуганно шепчет первый. – Тянем нитку, вдруг – голоса. Присмотрелись – сидят в кукурузе двое. Один другому прикурить дает, и по-немецки гергечут.

– Иди ты, парень, знаешь куда! – злится Кротов. – Откуда им тут взяться? Вон где немцы! – показывает он назад, на зарево за Кировоградом.

– Безусловно, – с уверенностью подтверждает Шашок. – Я еще засветло тут проезжал, никого не было.

Действительно, откуда тут взяться немцам, уже почти что в глубоком тылу полка? Батальоны ушли далеко вперед, танки еще дальше. Если бы случилось неладное – начальство уже приняло бы нужные меры.

– И танк! Стоит, кукурузой обложенный. «Тигр»! – будто не слыша наших возражений, в каком-то невразумительном трансе твердит связист.

Кротов с нарочитой простоватостью в голосе спрашивает:

– Танк?

– Танк.

– «Тигр»?

– Ага. Наверно, «тигр». Очень большой. Прямо огромный.

– Знаешь, боец! Был бы ты в моей роте, я бы тебе показал «тигра»! Он бы тебе котенком сдался, – грозит Кротов. – А ну, тяните связь, куда приказано. И без паники мне! Живо!

Связисты топчутся на месте. От командирской категоричности у них, судя по всему, мало прибыло решимости.

О чем-то переговариваясь, они остаются, а мы идем дальше. Я начинаю зорче, чем до сих пор, всматриваться в ночные сумерки, Кротов сдвигает на поясе кобуру. Немцы, вряд ли поняв что-нибудь из нашего разговора, тихо бредут своей колеей. Молчаливую настороженность первым нарушает Шашок.

– Младшой, – обращается он ко мне. – Ты это вот что...

Я гляжу на старшину, он, сверху осматриваясь по сторонам, что-то решает.

– Ты вот что... Веди их прямо, а я... А я подскочу в батальон. Забыл одно дело.

Что ж, скажи. Мне что? Только никакого у тебя дела там нет. Просто ты испугался, писарская душа, думаю я. Кротов, недобро сверкнув глазами, оглядывается на него, но молчит. Шашок торопливо заворачивает коня и с места пускает его в галоп.

– Уже наложил, – бросает Кротов.

– Что?

– Наложил, говорю, – громче повторяет ротный. – Ну и черт с ним. Баба с воза – кобыле легче.

Немцы, видимо, все же что-то поняли из нашей заминки. Передний, в очках, не

оборачиваясь, сообщает что-то остальным, и чернявый с явной заинтересованностью всматривается в сумеречную даль. Стараясь внимательнее следить за ними, я правой рукой нащупываю рукоятку затвора.

Так мы проходим километр или больше. Никто нам не встречается, поблизости, сдастся, ни одного подозрительного движения. Кротов решительно сплевывает на снег.

– Этим тыловикам завсегда черти снятся. Такой уж на...

Он, видно, хочет сказать «народ», но замирает на полуслове и останавливается. Я едва не наскაკиваю на него сзади, и тут отчетливо, хоть и не совсем реально (словно во сне), вижу впереди людей. Человек пять стоят в кукурузе, всматриваясь в нашу сторону. Рядом темнеет неопределенное пятно – куча кукурузы или какой-нибудь куст. Чуть подалее – другое, а там еще и еще. Все это появляется перед глазами так неожиданно, что, еще ничего не поняв из увиденного, я вздрагиваю от первой и самой страшной догадки: немцы!

Я еще не успеваю вполне осознать опасность, как Кротов сильным рывком выпрыгивает из колеи. Из его груди вырывается приглушенный вскрик, и старший лейтенант, пригнувшись, как хищник, бросается по ту сторону дороги. Секунду я не соображаю, в чем дело. Удивленный взгляд мой устремляется за Кротовым, и тогда я вижу, как один из наших немцев бежит в кукурузу.

– Стой! Стой, гад!..

Это кричит Кротов. На бегу он пытается выхватить из кобуры пистолет, но тот почему-то застрял и не вынимается. Зацепившись за стебель, Кротов падает, тут же пытается вскочить, и тогда первая трескучая очередь прошивает морозный воздух. Я падаю в колею, дергаю рукоятку затвора. Невдалеке в кукурузе что-то вспыхивает. Взрыв обдаёт лицо снегом. На мгновение в глазах мелькает рука Кротова с задраннм локтем. В ней пистолет. Затем радужное пятно в глазах гасит зрение. Не сразу затем из звездной темноты вверху проступают спутанные стебли кукурузы. Над ними неподвижно висит низкий месяц и еще ниже, на снегу, – две тени. Одна лежит в колее, а вторая, падая и вскакивая, уходит в кукурузу. Правда, не к немцам и не назад, а куда-то в сторону от всех. «Удерет», – мелькает в сознании, и я, не целясь, нажимаю на спуск. Автомат коротко вздрагивает, и треск его выстрелов возвращает меня к реальности. На руках и коленях я бросаюсь к немцу, тот впереди также вскакивает и, пригнувшись, широко сигает меж редких стеблей. Я, задыхаясь, кричу: «Назад!» Он испуганно бросается в сторону. Но в несколько прыжков я все же настигаю его и падаю почти рядом. Шумно дыша, он лежит, вглядываясь в меня, и ждет. Одежда его и голова в снегу. Я скидываю автомат и в лютой ярости хрипло команду: «Назад!» Немец послушно поднимается на колени и торопливо ползет между изломанных стеблей кукурузы. За ним на четвереньках ползу я. Откуда-то сбоку отчетливо доносится встревоженная немецкая речь. Кротова нет. Мерзлые тугие кукурузные стебли путаются под руками, задевают плечи и голову. Но кукуруза все же скрывает нас, и мы торопливо удаляемся от того места, где нас положила очередь. Нас всего двое. Тот, в колее, так и не поднимается. Я не знаю даже, который это из них, как не знаю, который ползет со мной. И непонятно, что с Кротовым! На секунду задержавшись, я оглядываюсь, немцев не видно. Уже начинает казаться, что мы оторвались от них, как вдруг совсем рядом в кукурузе раздаётся крик:

– Хальт!

– Хальт!

– Хальт, рус!..

И очередь – одна, вторая, две сразу. Мы падаем и по рыхлому снегу опять бросаемся в сторону. Мое внимание раскладывается надвое – одновременно я ловлю все, что угрожает нам сзади, и не упускаю из виду немца. Он вертится как уж, ползет, и я тоже извиваюсь, кувыркаюсь, ползу, чтобы не отстать.

В кукурузе тем временем раздается одиночный пистолетный выстрел, и затем снова, приглушенные расстоянием, доносятся крики немцев. И тут какой-то хрипловато-отчаянный крик, отдаленно напоминающий голос Кротова, останавливает меня:

– Нет! Нет! Сволочи-и...

И снова щелкает слабый пистолетный выстрел – второй. Третий, видно, накрывает очередь, и после ее треска все там стихает.

«Что же это? Как это? Почему такое?» – точно дрожь бьет меня растерянная мысль. Вывалившись в снег, я лежу меж спутанных будылей кукурузы. Передо мной лежит немец. Я только теперь узнаю его, это тот, очкастый, в мундирчике. Правда, очков у него уже нет. Он тяжело дышит и растерянно моргает своими белесыми глазами. Я вскакиваю на ноги и тут же приседаю от боли в стопе. Нога заметно тяжелеет, что-то горячее, остро-жгучее расплзается по стопе. В сапоге становится мокро. «Ну вот и все!» – сжимает сердце тоскливая мысль. Однако я тут же овладеваю собой, поняв, что, растерявшись, погибну. Воля моя свивается в клубок, внимание предельно напрягается, время четко отмеривает решающие для меня секунды.

Привстав на колени, я наступаю на раненую ногу – цела ли хоть кость? Если надломится – тогда все пропало. Но, слава Богу, нога выдерживает, только сильно болит в стопе и жжет. Правда, боль не в счет – боль мы как-нибудь стерпим. Пригнувшись, я толкаю автоматом немца, и мы скрываемся в кукурузном массиве.

Глава шестая

Люди идут, идут, идут...

И я иду. Иду бесцельно, неведомо куда, навстречу теплой весенней ночи. Вечерняя тишина высокого погожего неба миром и благостью вливается в растревоженную душу. Мелкой трелью рассыпается-журчит «Спидола». Это впереди размеренно шагают, словно плывут в людском потоке, трое молодых парней. Черные вечерние костюмы, остроносые туфли, аккуратно причесанные шевелюры...

Теперь, через двадцать лет, можно судить по-разному, хотя, признаться, я и до сих пор толком не знаю, как все это случилось. Возможно, отступая, немцы намеренно оставили в нашем тылу танковую группировку, а может, наши части в ходе наступления сами обошли ее. Вперед, не обращая внимания ни на что, как можно глубже в оборону противника – было неписаным правилом каждой наступательной операции. А танки остались. Скорее всего, это произошло именно так. Важно было окружить Кировоград, поставить под угрозу разгрома десятков немецких дивизий. И вот в каком-то месте нашего боевого порядка образовалась брешь, в которую вклинились немцы.

Для фронта это было не страшно, для армии тоже. Дивизии было хуже. А вот для нас... Для меня, Кротова, бедолаг раненых, так же как и для беспечных тыловиков, это стадо вопросом жизни и смерти.

Людской поток с тротуара вливается в огромную толпу на площади. Тут памятник. Высоченный, не очень оригинальный монумент, сооруженный по привычным стандартам своего времени. Наверху – орденская звезда Победы. Хлопцы уверенно прокладывают себе путь в толпе, ближе к памятнику. Там же Вечный огонь. Конечно, на могиле Неизвестного солдата. Вокруг шум и толчея. Толпа теснится, сдвигается в сторону, пропуская вовнутрь строй пионеров со знаменами. Лесной аромат хвои от венков настраивает на похоронный лад. Торжественная минута возложения. Людской шум немного притихает, громче звучит марш из репродукторов. Возле памятника слышится какая-то команда, и я думаю: возможно, тут будет митинг? Хотя на митинг как будто не похоже – нет ни трибун, ни руководства. Отработанным, хорошо поставленным голосом юная воспитанница школьной самодеятельности читает стихи. «Никто не забыт, ничто не забыто», – звонкой медью разносятся над площадью бодрые, полные оптимизма слова.

Я пробираюсь меж людей к памятнику. Что мне там надо увидеть? Всюду лица, лица, лица. На меня никто не обращает внимания. Тем лучше. Я понимаю, что найти тут кого-нибудь – безнадежное дело. Иголка в стогу сена. И все же я проталкиваюсь в середину. Гранитное подножие монумента завалено зеленью венков. Сколько еловых веток! На войне они сопутствовали убитым в их последнем земном пути. Вместе с ними клались в могилы, устилая вечное пристанище. Терпкий смолистый запах стоит над площадью.

К огню, однако, не подступиться. Оттуда идут пионеры. Стройные ряды белых рубашек и кофточек. Торжественно алеют галстуки. Я застаю в плотной группе молодежи. Снова остроносые туфли, каблучки-шпильки, пышные нарядные прически. И откуда-то из-под пиджаков, из карманов – та же приглушенная россыпь транзисторов:

А за окном то дождь, то снег,
И спать пора-а-а-а...

Но никак не уснуть...

- Старина, что смотреть! Прошвырнемся?
- Эдик, нахал! Ну тебя!
- Посмотри, вон та. С ямочкой.
- ...Такой чудак! Он мне говорит... Я ему говорю...

Торжественная церемония у памятника их мало занимает. Они живут своим, куда более привычным и близким. И я их понимаю. В самом деле: прошло двадцать лет. Одни ничего уже не помнят из своего раннего детства. Другие родились после войны. Война для таких своего рода абстракция. Как крепостное право. Оледенение Европы. Неолит.

Медленно я пробираюсь между их плотных рядов. Мне нужен Вечный огонь. Зачем – не знаю и сам. Разве чтобы приблизиться, посмотреть. Во всяком огне есть что-то неизъяснимо притягательное. Возможно, это инстинкт, унаследованный из глубины веков. У древних огонь был источником жизни, средством очищения и жертвоприношений. Теперь он символ другого смысла. Мне хочется только взглянуть на него и тем приобщиться к памяти мертвых.

Не очень деликатно раздвигая людей, я приближаюсь к обелиску. Правда, огня почти не видать. Низкая бронзовая горелка со всех сторон обложена венками. Над хвоей прозрачными волнами струится горячий воздух. В широком молчаливом кругу замерли люди – взрослые и дети, мужчины и женщины. Строгие взгляды всех прикованы к одной точке. Лица торжественно сосредоточены. Они мудры и светлы, эти лица. Мне кажется, я никогда не видел такими наших людей. Даже не верится, что это обычные лица самых обыкновенных людей. Впрочем, это те, по судьбам которых всей своей тяжестью прошла война. Едва взглядевшись, я сразу понимаю это.

Что ж, пожалуй, я не буду тут лишний.

Я вытягиваю голову из-за чьей-то широкой спины и молча стою со всеми. Горелка струит едва приметный на зеленом фоне дымок. Мягкой позолотой поблескивают литые рельефы памятника. Напротив, будто мраморное изваяние, – неподвижно скорбное лицо женщины. Она в большом темном платке, из-под которого выбивается на лоб прядь белых волос. Невдалеке, скрестив на рычагах руки, инвалид в коляске. И вдруг я слышу тихий вопрос впереди стоящего:

- Он какой, огонь-то? Настоящий?
- Самый заправдашний, папка. Это от газа огонь. Как на кухне у Кузьмичевых.

Восьмилетний мальчонка тормозит за руку человека. Тот, однако, стоит ровно, едва склонив голову.

- Большой?
- Большой, папка. Только венками завалили – не видать.
- А венков много?
- Много. На мазовский самосвал не вместится.
- Самосвал, он как «студебеккер»? Да?
- Что?

Мальчик не расслышал или не понимает незнакомого слова. Я объясняю:

- Много венков. Пожалуй, на «студар» с верхом.

Человек вполоборота поворачивает ко мне побитое порохом лицо:

- Спасибо. Большое спасибо.

Пожалуйста. Хотя зачем благодарности? Зло меченные войной, мы и так отлично

понимаем друг друга. Я обхожусь без ноги, он – без глаз. Мы – братья одной судьбы. И мне становится хорошо здесь, в этом тесном строю. На этом стихийном митинге без ораторов. Мальчонка из-под отцовской руки с уважительным любопытством поглядывает на незнакомого человека.

Однако хорошего понемножку. Сдается, долг мой исполнен, и я начинаю выбираться из толпы. Все-таки вечный огонь в память о павших – это здорово. Если только вечность его не окажется слишком короткой. Как те навечные зачисления героев в списки частей, впоследствии расформированных.

Я решительно выбираюсь из толпы. Вдоль тротуара – плотные ряды людей. Кто-то клацает «Зорким». Женщина на вытянутых руках высоко поднимает ребенка. Пусть видит и помнит. Пригодится.

Перейдя тротуар, натываюсь на ряд красных газировочных автоматов. Возле них тоже толпятся люди. Щелкают медяки, неторопливо гудят железные механизмы, аккуратно отмериваются ровные порции. Стараясь не ступить в лужу на асфальте, ищу стакан. Возле крайнего автомата, заслоня друг друга, что-то хитрят двое уже немолодых людей, по возрасту, похоже, фронтовики. У обоих в руках стаканы. Ясно, не с газировкой.

Один из них, перехватив мой озабоченный взгляд, с обезоруживающей фамильярностью подмигивает:

– Одну минутку.

И прячет за автомат бутылку. Я останавливаюсь в сторонке и жду. Мужчины украдкой чокаются. Один рослый, тяжеловатый, с кирпичного цвета лицом. На его пиджаке три ряда орденских планок. Два – Красного Знамени, по одному – Александра Невского и Отечественной войны. У второго, который чуть помоложе, с каким-то простецким помятым лицом, лацкан коричневого пиджака оттягивают две Красные Звезды. Видно, привинтил специально к празднику. Мужчины торопливо пьют и, крякнув, заедают сушеной воблой. Старший выразительным кивком головы указывает на мою ногу:

– Что, на войне?

– На войне.

– А газировку пьешь. Иль не заработал? – грубовато упрекает он и спрашивает: – Стукнуло где?

– На Втором Украинском.

– Сосед. Я с Первого. А этот с Ленинградского, – с треском ломая воблу, кивает он на собутельника.

Я жду, а он, помедлив, наклоняется над бутылкой. Широкая большая его рука щедро наливает почти полный стакан.

– Давай! За тех, кто хочет, да уже не может.

– Не пью, к сожалению.

На глазах хмелея, человек готов возмутиться:

– Как это не пьешь? Тогда ты не фронтовик. Ты – железнодорожник!

У него неторопливые движения, непререкаемый командирский тон, самоуверенный взгляд человека, знающего себе цену. Тот, что помоложе, напротив, все время смеясь глазами, грызет металлическими зубами воблу и подмаргивает.

– Давай, друг! За русских Иванов.

Мне вовсе не хочется пить, но их непререкаемая категоричность обезоруживает. Неудобно, но разве что за Иванов. Младший отламывает кусок воблы, и я торопливо,

захлебываясь, пью. Как на фронте. Случайная чарка среди незнакомых соседей – танкистов или минометчиков. Правда, там не было и следа неловкости.

– Ну и ничего! – одобряет старший. – Справился. Трепался только. В каком звании?

– Я?

– Ну не я же.

– Младший лейтенант.

– Понятно. Ванька-взводный?

– Да. Хотя и ротным был.

– Я тоже. До Берлина вырос в дивизионного.

Соленый кусок рыбы обжигает во рту. Настроением быстро овладевает хмельная благостность. Из репродукторов гремит «Священная война». Рядом ходят, толкаются люди, но мы уже не обращаем на них внимания. Меня интересует мой собутыльник. Насчет дивизионного, по-видимому, он все же загнул.

– Не слишком ли высоко?

– Высоко? Думаешь, до дивизии недобрал? Да? А ну, подсчитаем. Один комплект роты двести человек...

– Смотря какой роты.

– Какой? Штрафной, конечно.

– Штрафной?

Я с новым интересом поглядываю на этого человека. Плечом тот прислоняется к красной обшивке автомата.

– Ну и вот. Двести умножь на двенадцать. Двенадцать раз формировались. Не считая частичных пополнений. Дивизия!

Ну, может и не дивизия, но тоже немало. Я впервые встречаю человека, который на фронте командовал штрафной ротой, и с нескрываемым любопытством гляжу на него. Младший разрывает пачку «Беломора». Возле нас появляется женщина в прозрачной косынке и с медяком в пальцах.

– Стаканчики свободны?

– Заняты! – бросает старший.

– Пьяницы проклятые!

– Цыц, тетка! У нас поминки!

Женщина, отойдя, грозитя:

– Вот позову дружинников, тогда помянете. В отрезвитель вас, алкоголиков!

– Что? Дружинников? Зови! Зови дружинников! – начинает распалиться старший и угрожающе ступает от автомата.

Младший, блеснув металлическими зубами, хватает его за руку:

– Кузьмич, спокойно! Спокойно, Кузьмич!

– Что спокойно? – кричит Кузьмин. – Пошли вы!.. Давай еще стакан.

Младший достает из-за пазухи новую бутылку, и Кузьмич натренированно срывает с нее белую головку. Руки его дрожат.

Водка через край стакана льется на асфальт. На этот раз они пьют вдвоем и молча. Я понимаю: пора идти. Но Кузьмич, выплеснув остаток спиртного под ноги, поднимает на меня покрасневшие недовольные глаза:

– Что смотришь? Осуждаешь, да? Осуждаешь? Двенадцать на двести, думаешь, где? В земле! Из плена прибегали! Не усидели до конца войны. Вот! Кто сегодня в героях?

Брестская крепость и так далее! А я четверых из Брестской на Сандомирском плацдарме закопал. Вот! Тогда не спрашивали, как в плен попал! Спрашивали, почему не застрелился! Ясно? Ты! Железнодорожник! – с яростью заканчивает он.

– Кузьмич, спокойно! Тихо, Кузьмич, – берет его за пиджак младший.

Кузьмич зло и почти бессмысленно смотрит на меня. Кажется, он уже забыл, кто я, и готов обрушить на меня весь свой накопленный с войны гнев.

– Ладно. Будьте здоровы! – говорю я. – Спасибо.

Младший сжимает мою руку:

– Не за что. Ты не обижайся. Знаешь... Кузьмич, он добрый...

Прихрамывая, я не спеша иду по тротуару. У выпившего хромота становится всегда заметнее. И я не обижаюсь. Вообще пьяницы омерзительны, тем более скандалисты. Но этого, «дивизионного», можно понять. Двести на двенадцать! Невольно озвереешь. Особенно с годами. Когда все это отстоится, усилится в эмоциональном восприятии и прозреет в памяти. Тогда и замелькают мальчики кровавые в глазах.

А Сахно? Видит ли он своих мальчиков? Тех, что погибли от него и из-за него?

Нет, я никудышная размазня. Надо было сразу же задержать его, спросить документы. Если что – позвать на помощь людей. Столько передумано о нем, а когда представилась наконец просто невероятная, может, единственная в жизни возможность, так я растерялся. Фронтвик, называется!

Водка заметно будоражит мое сознание. Хочется что-то предпринять, на что-то решиться. И я бреду, куда ведут меня улицы. Сначала по проспекту, потом на перекрестке сворачиваю за угол. Постепенно поток прохожих на тротуаре редет. Разом, вспыхнув, загораются вверху фонари. Их круглые шары, как спаренные луны, тускло светятся в небе, над мелкой еще листвой лип. По мере того как темнеет небо, они разгораются все сильнее...

Глава седьмая

Не скоро еще мы выбираемся из кукурузы в чистое поле с разбросанными там скирдами, и я вслушиваюсь. Откуда-то доносятся голоса, но это далеко и не сразу определишь – свои или немцы. В сапоге хлюпает кровь, руки заоченели от мороза. Рукавица осталась только одна, и та мокрая от снега и не греет.

Немец плетется сзади, натываясь на кукурузные стебли, часто цепляется за них сапогом и падает. Без очков он совсем стал слепым, и я, сжимая от боли зубы, время от времени покрикиваю на него. Внутри у меня все горит от усталости и изнеможения, спина вся в холодном поту, сердце того и гляди выскочит из груди.

Что же это случилось, как же это? – не могу я понять. Как это в своем тылу мы угодили в такую ловушку, как нарвались на засаду? Бедный Кротов! Мне то жалко его, то я чувствую в себе жгучую злость на него. Впрочем, я ругаю себя, комбата, старшину Шашка, хотя руганью уже ничего не исправишь.

Танки! Откуда они взялись тут, и что мне, подстреленному, теперь делать? Надо как можно скорее доложить начальству. Надо принять какие-то меры, нельзя допустить, чтобы в тылах батальонов хозяйничали вражеские танки. Это – разгром и гибель.

Но кому скажешь? Как назло – нигде никого из своих. Хотя бы связисты, они помогли бы. Только связистов уже давно простыл и след. Кругом дремотно покоится широкая степь, залитая ярким светом высокого месяца. Пересыпается под ногами неглубокий снег. Поодаль толпятся заснеженные скирды.

Я не могу сдержать нетерпеливости и то и дело пытаюсь бежать. Только нога моя болит все сильнее, я хромаю, и немец начинает обгонять меня. Так мы добредаем до ближайших скирд, и тогда я вижу невдалеке повозки. Глухо стуча колесами, они неторопливо катятся куда-то в снежную даль.

– Эй! Эй! – кричу я, бросаясь бежать.

Нет, упустить их мы не можем. Это последняя наша возможность предотвратить беду, которая нависла над батальонами, а может, и над полками тоже.

– Эй! Стой! Стой!

Передняя повозка все катится, наверно, никто там меня не слышит, а задняя и в самом деле вдруг останавливается. Но это все же далеко, и я изо всех сил нестерпимо долго бегу, загребая сапогом рыхлый, рассыпчатый снег. Мне все кажется, что ездовой не дождется нас и повозка вот-вот тронется следом за первой. Но он все же терпеливо дожидается, и мы с немцем наконец добираемся до дороги. В подводе несколько человек. Все молча и не очень дружелюбно всматриваются в нас.

– Там танки!.. В кукурузе!.. – говорю я, сдерживая дыхание и стараясь выглядеть как можно спокойнее. Только это, видать, мне плохо удается.

На повозке молчат.

– Танки! Немецкие танки. Понимаете? Где командир? Давайте к командиру! – с запальчивой решимостью требую я.

И тогда на повозке отзывается недоверчивый женский голос:

– Видно, здорово тюкнуло? Может, и контузия, а?

Эта ничем не прикрытая ирония выбивает из меня остатки квелиго моего самообладания.

– Какая контузия?! Пошли вы к черту! Танки! Понимаете, немецкие танки! В кукурузе! На подводе зашевелились, кто-то, опершись на плечо ездового, соскакивает на снег. Оказывается, это девушка в полушубке и шапке. Но она мне незнакома, видно, подвода не нашего, а какого-либо другого полка.

– А ну покажи голову!

– Да не голова! Ты вот ногу перевяжи. В ногу ранило! – кричу я, теряя терпение от этой нелепой ее невозмутимости.

– Ногу?

– Да! Ногу! Не веришь?

Я опускаюсь на снег и, чтобы не завывать от боли, сжав зубы, стаскиваю с раненой ноги сапог. Там мокро, и я опрокидываю его голенищем вниз – на снегу появляется темное пятно крови.

Это убеждает. Девушка вскидывает голову и вдруг настораживается.

– Постой! А тот кто?

– Немец. Не бойся, не укусит: пленный! – раздраженно чуть не кричу я.

Нога дико болит, мокрые пальцы стынют на морозе, я уже готов возненавидеть эту «помощницу смерти» за ее недоверие и медлительность.

– Давай на подводу! – говорит она. Затем уверенно берет меня под руку и прикрикивает на немца: – А ну помоги! Что глядишь, как Гитлер?

Немец понимает и с неловкой деликатностью подхватывает меня под локоть.

– Ладно, идите вы! Я сам...

На одной ноге я допрыгиваю до повозки. Там, оказывается, лежат на соломе еще двое раненых. Один тихо стонет, запрокинув голову, второй, приподнявшись, запавшими глазами на исхудалом лице смотрит на меня.

– Вот тут, в уголок.

Девушка с ездовым устраивают меня на подводе. Затем она ловко и туго перевязывает бинтами мою простреленную стопу. Но тут обнаруживается новая беда – сапог на перевязанную ногу уже не налазит, да и боль такая, что нет сил вытерпеть это мучительное обувание. Напрасно помучившись с минуту, я бросаю сапог в солому. На снегу возле дороги остается окровавленная портянка.

– Повезло, – говорит девушка. – Еще бы на миллиметр, и – кость вдребезги.

«Кость, кость!» – меня раздражает теперь это ее неуместное сочувствие. Сам знаю – вдребезги. Кость – не железо.

– Давай быстрее! – кричу я. – И немца посади.

– Некуда! Пусть бежит. Протрясется.

– Протрясся уже. Последний остался. Второго ухлопали. И Кротова! – говорю я, почти физически ощущая, как в тревожной тоске сжимается сердце. Эх, Кротов, Кротов!..

В который уже раз я не могу примириться с такой внезапной и скорой гибелью человека. Просто это невозможно постичь. Ведь только же был с тобой рядом, шел, ел, ругался. И вот его нет. И никогда уже не будет.

Девушка, примащиваясь возле ездового, удивленно оглядывается:

– Кротов? А что Кротов?

– Убили, что!

– Кротова? Командира роты?

– Ну.

– А ты не треплешься, младшой?

Она впервые настораживается, кажется, только сейчас проникшись моей тревогой и моей бедой.

– Только мне и не хватало еще трепаться с вами! Гони в полк! Танки вон в километре! – кричу я. – Ты понимаешь или нет?

– А ты не кричи! Тоже командир нашелся! – злится девушка.

Я умоляюще гляжу на нее и думаю: «Не буду, не буду кричать, только давай же быстрее! Милая, хорошая, или как там тебя назвать, гони же!» Девушка настороженно поглядывает в ночную степь, секунду вслушиваясь, потом толкает притихшего ездового:

– А ну погоняй!

И едовой быстро гонит пару шустрых лошадок, от которых курит паром, и все оглядывается по сторонам. Повозка то дребезжит и подскакивает на кочковатых выступах ненаезженной полевой дороги, то стихает, увязая колесами в сыпучем снегу. Сидеть мне страшно неудобно. Коченеет нога, горячей болью жжет рана. Но и подвинуться нельзя ни на сантиметр. Я и так сижу чуть ли не на самых ногах раненого, который стонет, ругается и умоляет девушку:

– Катерина! Катя! Тише! Черт бы тебя побрал. Живо дер ты, а не сестра, тише! Ух!.. Ох! Катюшенька!..

Катя наклоняется с передка, одной руки придерживает его голову и просит с той непривычной на фронте нежностью, которая уместна только по отношению к тяжелораненым:

– Потерпи, миленький. Потерпи, родной! Сейчас уже. Скоро...

И тут же, повернув лицо к немцу, который, утомившись, бежит за подводой, кричит:

– Быстрее, немчура проклятая! Быстрее!

Я молчу, ничем не высказывая своего отношения к ее окрику, и, видно, потому она поясняет:

– Была бы моя власть, я бы его бегом прогнала на Северный полюс и обратно. На Колыму б его, собаку! За наши муки! Пусть бы померз, помучился, сколько русский народ мучается.

Затем с твердостью человека, привыкшего, чтоб его слушались, негромко приказывает езовому:

– Погоняй!

И тут же наклоняется к раненому:

– Потерпи, потерпи, миленький!

Да, уж терпи как-нибудь; надо спешить. Я и сам едва держусь, нога мало того что болит, еще и мерзнет под полкой шинели. Только надо терпеть до села. Там люди, штабы, командиры, они что-нибудь предпримут.

Глава восьмая

Село возникает неожиданно. На лунной белизне длинной, пологой балки появляется ряд белых мазанок с изгородями, плетнями, зарослями вишенника на межах. Местами мирно светятся окна, на улице – урчание машин и голоса. В селе свои. Правда, меня немного удивляет такая идиллия под носом у немцев. Но ведь это тылы. Полки наступают неплохо, впереди танки, артиллерия, чего им бояться?

Дорога катится вниз; дребезжит, грохочет повозка; Бога и всех чертей поминает бедолага раненый. Даже второй, что поспокойнее, и тот поднимается на локте под шинелью. На его белом, неестественно ощетинившемся лице отчетливо проступает гримаса страдания. Катя на передке заикающимся от тряски голосом успокаивает:

– Счас, счас, родненькие... Счас...

Мы быстро спускаемся по отлогому склону и, проехав короткую, обсаженную вербами греблю¹¹, сворачиваем в улицу. Но по улице не проедешь. Впереди, перегородив дорогу, урчит многосильный «студебеккер». Из приоткрытой дверцы кабины высовывается шофер, привычным движением руля он помаленьку сдает назад. У плетня спиной к нам кто-то в полушубке командует нервным осипшим голосом:

– Лево руля! Лево! Еще лево! Давай, давай!..

«Студебеккер» пролезает в непомерно узкие для него ворота, тяжелыми скатами вминает снег, и вдруг обмазанный глиной плетень с хрустом кладется на землю. Человек в полушубке вскидывает кулаки:

– Куда даешь?! Куда даешь, собачий ты сын? Где у тебя глаза? Где глаза у тебя, я спрашиваю?

Он почти в бешенстве подскакивает к кабине, кажется, вот-вот набросится на шофера. Но не набрасывается, и шофер неожиданно спокойно басит:

– Во лбу глаза, товарищ капитан.

– Во лбу? – удивляется капитан. – Разве они у тебя во лбу? В другом месте они у тебя! Давай вперед!

– Стой, – говорю я.

Ездовой придерживает коней. Катя соскакивает с передка.

– Товарищ капитан!

Капитан не слышит или не хочет слышать. Отступив на шаг, он снова кричит шоферу:

– Вперед и право руля! Еще, еще право! Давай, давай!

– Капитан! В степи танки! Кому доложить?

Катя вплотную подступает к командиру. Я слезаю с повозки и на одной ноге тоже скачу к нему.

– Товарищ капитан! Там немецкие танки! – надеюсь я удивить его этим сообщением. Но капитан будто не слышит.

– Право, еще право! Так, так! – Он приседает, заглядывая под кузов машины.

«Студебеккер», урча, как рассерженный мамонт, начинает въезжать во двор.

– Что, танки? Много? – И сразу же к шоферу: – Давай, давай! Прошло! – с облегчением объявляет он и будто впервые замечает рядом меня с Катей.

– Танки! Немецкие! Вы слышите? – кричит Катя. – Вот турнут, будет вам тогда «давай, давай».

– Что? – удивляется капитан, и осипший голос его снова становится сварливым. – А что вы на меня кричите? Что я – ИПТД^[2]? Идите в артполк и докладывайте. Мне приказано, я ДОП^[3] разгружаю.

Он разгружает ДОП! Эта его неуязвимость просто бесит. Я хочу разъяснить капитану, что нависло над его ДОПом, но Катя, меньше церемонясь в обращении, обрывает меня:

– Какой, к черту, ДОП! Вот стукнут по селу – будет тогда и ДОП и поп.

– Товарищ капитан!..

Катя машет рукой:

– Да ну его, младшой! Он чокнутый.

– Ага, чокнешься! Мне к двадцати четырем ноль-ноль надо шесть «студеров» разгрузить.

Понимаете? Плевать мне на ваши танки.

– Ладно. Дурака кусок, – бросает Катя. – Давай дальше.

Она вскакивает в передок, я заваливаюсь в повозку. Ездовойогревает коней, и, объехав «студебеккер», мы мчимся по улице. А в селе так по-вечернему уютно и мирно, что мне даже становится страшно. С все возрастающей тревогой я предчувствую, чем может кончиться такая идиллия. Нет, во что бы то ни стало надо найти какой-нибудь штаб, пусть что-нибудь сделают.

В одном дворе, аккуратно «притертый» к стене, стоит «виллис». Возле него молча копаются двое – кажется, выгружают имущество. Где «виллис», там, конечно, начальство, и Катя, завидев машину, сразу останавливает повозку.

– Сиди, младшой, я сама.

Я остаюсь на подводе, а она бежит во двор и что-то встревожено там объясняет. Вскоре все вместе они выходят на улицу.

– Вот младшой лейтенант наткнулся. Командира роты убило, – говорит девушка и умолкает, с надеждой поглядывая на впереди стоящего человека.

Я также всматриваюсь в него. Это – высокий, поверх шинели затянутый ремнями мужчина, на его плечах широкие с двойным просветом погоны. Других знаков не видно. Но он в ушанке, и я определяю: майор или подполковник.

– Вы где видели танки? – спокойно обращается он ко мне.

– В степи, товарищ подполковник. (На всякий случай беру с запасом, за это не обидится.) Километрах в трех отсюда. Штук двенадцать стоят стволами сюда.

– Вы думаете, это немецкие?

– Немецкие, – говорю я. – Нас обстреляли. Командира роты убили. Мы вот едва выскочили с пленным.

Подполковник молча оглядывает меня, затем немца, который в терпеливом ожидании стоит возле подводы, подрагивая от стужи.

– Так. Хорошо. Можете ехать, – помедлив, говорит командир.

Мало что понимая из этого разрешения, я спрашиваю:

– А куда пленного сдать?

– Пленного в Ивановку. Согласно распоряжению командующего, сборный пункт для военнопленных в Ивановке.

– Да тут все ранены, – говорит Катя. – Возьмите вы немца.

– Нет. Отправляйте в Ивановку, – спокойно, с непоколебимой твердостью говорит командир. – И попутно сообщите там о танках. Скажите, подполковник Волох послал, – неожиданно приказывает он.

Вот тебе и раз. Мы – им, а они – нам. Договорились! Получили приказ! Подполковник с тем, что в телогрейке, отходят к хате и закуривают. Мы стоим на месте и удивленно переглядываемся. Слышно, как тот, второй, тихо предлагает начальнику:

– Видно, надо смываться... Ну их к дьяволу, эти танки...

Я не слышу, что отвечает подполковник, скоро они вдвоем скрываются во дворе, и что-то во мне надрывается. Выдержка моя на том кончилась, и я готов ругаться – что же это делается? На повозке стонут раненые.

Катя вспыхивает:

– Тыловики проклятые! Концентраторов отъелись – не прошибешь! Хоть караул кричи!

– Гони! – кричу я ездovому. – Гони дальше!

Я целиком во власти нетерпения. Черт с ними, поедem в Ивановку. Только где она, эта Ивановка? Легко ли ее найти ночью, и сколько на это понадобится времени? А тут еще два человека на подводе!.. И немец, что трусит сзади. И моя мокрая от крови нога, которая уже омертвела и дико болит от раны и мороза...

На повороте улицы мы чуть не сбиваем нескольких бойцов. Спасаясь от коней, они с руганью вскакивают на завалинку хаты. Один прижимается к плетню, и по новой цигейковой шапке на голове, а скорее по сумке на боку я узнаю в нем командира. Неожиданная надежда вспыхивает во мне. Я хочу остановить подводу, но он останавливает ее сам – в ярости хватает за уздечки коней и заворачивает их поперек улицы.

– Стой!

Голос его злой, властно-нетерпеливый, пожалуй, некстати такая встреча. А впрочем, к черту этикет, если в тылы прорвались танки! Но прежде чем я успеваю раскрыть рот, чтобы сообщить ему об этом, человек строго спрашивает:

– Кто такие?

– Да раненые! Не видите разве? Из батальона Шаронина, – отвечает Катя.

– Товарищ командир, – говорю я. – Надо как-нибудь передать в штаб, в разведотдел... Комдиву. В степи недалеко отсюда танки. Немецкая засада.

Командир выслушивает это с мрачной затаенностью. Потом подходит к повозке, заглядывает в нее и, будто не слыша моих слов, тоном, исключавшим возражения, приказывает:

– Слезть всем!

– Да вы что? – вскакивает на передке Катя. – Вы что: тут тяжелораненые.

– Санинструктор, да? Ко мне, санинструктор! Вы, раненый, тоже! – не принимая во внимание ее слов, кивает он мне.

Откуда-то возле него появляется автоматчик, теперь их уже двое. Командир стоит в двух шагах от нас, грозный и неумолимый, как генерал. Я всматриваюсь в его плечи, стараясь определить воинское звание, но там ничего не поймешь. Вверху сияет месяц, и мне не видно лица командира, затененного шапкой. Но я чувствую, что лицо это не предвещает добра.

– Повторяю: санинструктор, вы – с забинтованной головой, повозочный и вы, – кивает он в сторону немца, – следуйте за мной.

Ничего не поделаешь. Тихо выругавшись, Катя первая соскакивает с передка, неохотно покидает свое место ездовой. Держась за края повозки, слезаю и я. Командир ступает вперед.

– Марш в помещение.

Я думаю, что это – не более чем недоразумение. Куда он нас поведет, и что плохого мы

ему сделали? И я хочу объяснить:

– Вы понимаете: танки. Мы спешили доложить. Через час-другой они могут быть тут.

Командир оглядывается:

– Попрошу помолчать. Пока вас не спрашивают.

– Ну пошли, подумаешь! – со злой решимостью говорит Катя и шагает во двор.

За ней идет ездовой, потом немец. Я, хватаясь за изгородь, на одной ноге прыгаю следом за ними. Возле повозки с двумя ранеными остается автоматчик.

Командир ведет всех через двор, затем в темные сени и открывает дверь в хату. На оконном косяке тускло горит коптилка, окна завешены каким-то тряпьем. Несколько малышей пугливо бросаются на печь, и вскоре из-за каминка появляются их любопытные личики.

– Прощу документы! – говорит начальник, подходя к коптилке, и оборачивается.

Я оглядываю его плечи – вот тебе и на. Всего лишь капитан, а держит себя, как генерал, не меньше. Столько напускной строгости!

– Пожалуйста! – с готовностью, но и с подспудным вызовом говорит Катя и лезет за пазуху.

Сдерживая в себе неуместный тут гнев, я нащупываю под шинелью нагрудный карман и достаю удостоверение. Ездовой наш, довольно пожилой, с крестьянским лицом дядька, неторопливо распоясывается и долго копается в складках одежды, пока находит аккуратно завернутую в бумагу красноармейскую книжку. Минуту капитан молча изучает наши документы. На его чернявом лице непреклонная строгость службиста. Но вот наконец он поднимает лицо, обводит всех придиричьим взглядом и останавливается на четвертом – немце, который сутулится в полумраке у самого порога.

– А вы что?

– Это пленный, – говорю я. – На сборный пункт ведем. В Ивановку.

Я думаю, что он сразу прицепится ко мне и пленному, документов на которого у меня никаких нет, а его остались в батальоне. Видно, в том виноват я. Только кто предполагал, что мое конвоирование обернется таким образом! Но капитан, кажется, не намерен излишне придираться к пленному и складывает вместе наши документы.

– Где вы видели танки? – спрашивает он у меня, стоя под самой коптилкой.

– В кукурузе. Километра за три отсюда.

– Кому вы о том доложили?

– Кому тут доложишь! – запальчиво опережает меня Катя. – Тут у вас все как пыльным мешком побитые.

Она так вольно и независимо держит себя перед этим придирой капитаном, будто он и вовсе никакой не начальник. Я, к сожалению, так не могу и покорно стою, прислонясь к скамье и поджав свою простреленную ногу.

– Двум человекам докладывали, – говорю я. – Капитану из ДОПа и одному подполковнику.

– Так вот зарубите себе на носу! – строго говорит капитан. – Чтоб больше ни слова. Поняли? А то панику мне развели! Как в сорок первом. Я вам покажу танки! – заканчивает он нелепой угрозой.

– При чем тут паника! – дерзко бросает Катя. – Мы докладываем. Что мы, на всю улицу кричим, что ли? Да тут у вас хоть голоси – никого не проймешь.

Капитан выслушивает ее слова и оставляет их без ответа. Обращается он ко мне одному:

– Вы поняли, младший лейтенант? А теперь марш отсюда! – строго приказывает командир и добавляет чуть мягче: – В третьей от церкви хате сбор раненых.

Потом отдает наши документы и засовывает руки в карманы шинели.

– А пленного? – спрашиваю я. – Возьмите у нас пленного. У меня вот нога...

– Я не конвоир! – отвечает капитан.

Я растерянно стою, начиная понимать, что и от этого больше ничего не добьешься.

Помолчав, мы нерешительно направляемся к порогу и, ощупывая холодные стены в темных сенях, выбираемся на двор. Морозный снег поскрипывает под ногами.

– Ну и черт с ним! Поехали. О тех надо подумать, а то поокочурятся, – говорит Катя и направляется к повозке.

Глава девятая

Хата санчасти приветливо встречает нас огнями в двух окнах (третье заткнуто охапкой соломы) и песней. Кто-то во все осипшее горло натужно тянет под нестройный басовитый гул нескольких струн гитары:

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя привозил.
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил...

Знака или флажка на хате нет никакого. Во дворе также ничто не свидетельствует о наличии тут санитарной части. Но, как говорил капитан, это третья хата от церквушки, что скромно сереет невдалеке побеленными стенами, и Катя останавливает коней. Ездовой соскакивает на снег, слезает с передка Катя. Я также вываливаюсь из подводы, бросаю немцу: «Ком!» – и на одной ноге прыгаю к раскрытым в сенях дверям. Пленный уныло идет следом.

Песня и гитара сразу обрываются. В углу и на припечке лихорадочно трепещут огоньки двух «катуш». Под потолком висит плотный слой дыма, и в углах царит не побежденный коптилками мрак. Резкий запах свежих бинтов, крови и прокисшая вонь шинелей бьют в нос, тем самым, однако, убеждая, что хатой мы не ошиблись.

– Рама! В укрытие! – после секундной паузы в фальшивой тревоге выкрикивает чей-то голос.

Вслед за Катей я пропускаю немца и перескакиваю через порог. Первым на глаза попадает гитарист. Вытянув на кровати у порога обмотанную бинтами ногу, он замирает с гитарой в руках и, сверкнув озорными глазами, упирается взглядом в Катю. В углах на соломе сидят еще раненые. Кто-то чуть не до пояса перевит бинтами – и грудь, и голова, – должно быть, обгоревший танкист.

– Дурной! – с хода бросает Катя. – Чего орешь? А ну встать! Кто старший?

Гитарист, не выпуская гитары и не сдвигая с места раненой ноги, всем корпусом разворачивается к Кате. Под накинутой на плечи курткой десантника тихо побрякивает связка медалей. На потолке замирает большая изломанная тень.

– Отставить! Уже навставались. Теперь всё! Крышка!

– Кто старший?

– Старший? Был, да весь вышел. К начальству. Хошь – буду я?

– Обойдемся без самозванцев. А ну слазь! – Катя бесцеремонно дергает его за рукав. Куртка сползает – на погонах сержантские нашивки. – Тяжелых положим. Где санитары?

– Стоп, рыжая! Не трожь! Я контуженый! – паясничает гитарист и, сменив тон, с силой бьет по струнам. – Санитары! Эй, санитары!

Откуда-то из-за перегородки, откинув одеяло, выходят двое в неподпоясанных шинелях. Один высокий и худой, второй низкий – оба пожилые, мешковатые, видно, недавно мобилизованные дядьки.

– Тяжелых внести! Живо! – чувствуя себя начальством, приказывает гитарист и тычет в санитаров пальцем. – Ты и ты! Этот ихний поможет, – указывает он на пленного и вдруг недоуменно моргает. – Ого, Гансик! Братва, Гансик! Ей-богу! Айн, цвай битерфляй... Ком!

Все из углов оборачиваются к порогу. Забинтованный на полу неестественно выпрямляется, ногами скидывает с себя полущубок и выбрасывает вперед руки, также забинтованные до локтей.

– Кокнуть! Кокнуть к чертовой матери! – с надрывом выкрикивает он.

Второй, что лежит рядом, что-то приговаривая, укрывает его полущубком. Сержант быстренько соскакивает с кровати и, неся перед собой прямую и толстую, как бревно, ногу, подступает к немцу.

– Спокойно! – говорю я. – Это пленный.

– Ну конечно, спокойно. Зачем спешить? Успеем!

Сержант недобро ухмыляется и с нарочитой вежливостью берет немца за концы воротника.

– Он же добрый. Он сознательный. Гитлер капут? – ехидно спрашивает он.

– Гитлер капут, – не очень уверенно, но с готовностью соглашается немец. Губы у него, однако, заметно подрагивают.

Сержант все с той же ухмылкой на лице поворачивается к остальным:

– Вот видите! Он добрый. Он перевоспитался. Трофейчики, конечно, все выпотрошили? Ур нету? – миролюбиво спрашивает сержант и живо лапает немца по пустым, отвисшим карманам. – Ну, конечно, в кармане вошь на аркане.

И вдруг озорно дергает за длинный козырек шапки, которая налезает немцу на самые глаза. Сержант возвращается назад к койке. Немец покорно поправляет шапку, а я отхожу от порога и опускаюсь у стены на солому. Больше сесть тут негде. На единственной скамейке в простенке кто-то лежит, койку займут тяжелораненые. Гитарист, бережно уложив на прежнее место ногу, берет гитару. К «гансичку» он уже потерял интерес.

– Я вот не понимаю, – громко говорит он, забренчав струнами. – Какой смысл немцу воевать с нами? Ну что пользы: ворвется ежели в траншею, что он найдет? Ни фига! Разве портянку грязную на бруствере. А у них! Ого! Сколько у них барахла разного остается! Я так, если приказ: «Вперед!» – лечу как очумелый. А что? Люблю трофейчики! Вот только вшей у них много, холера!

Из раскрытых дверей вкатывается облако холода – санитары вносят раненых. Катя укладывает обоих на койку и укрывает рваной шинелью:

– Полежите до завтра. Утром в госпиталь отправка. Доктор сказал.

Один из них, видно, уже доходит – глаза полузакрыты, нос заострился, из опавшей груди слышен трудный пузыристый хрип. Второй прерывисто стонет, борется с муками и, повернув набок голову, безучастно оглядывает людей.

– Браток, сверни закурить, – обращается он к сержанту. – В кармане там, браток... И бумага...

Сержант с готовностью откладывает гитару.

– Пожалуйста, отец. Это можем. Пока руки целы. Откуда будешь, землячок?

– Воронежский я.

Раненый сводит челюсти, будто глотает слюну. Взгляд его беспокойно мечется по темному потолку хаты.

– Ну так почти земляки. Что Воронеж, что Ростов – одна Расея. На, потяни, полегчает, – участливо обещает сержант и справляется: – Пехота?

– Пехота, – выдыхает затяжку раненый и жадными губами снова ловит сигарку.

Немец неловко топчется у печи, не зная, где приткнуться. Держит он себя уважительно и

даже будто несколько робко. Я замечаю это и подзываю его к себе:

– Ком! И садись! Нечего торчать.

Он понимает и, поджав длинные ноги, неуклюже опускается напротив на земляной пол. Глаза его осторожно скользят по мне, по сержанту и останавливаются на гитаре. Катя у печки, при тусклом свете «катушки» копошится в медицинской сумке – готовит лекарства. Сержант с силой дергает басовую струну и фальшиво затягивает солдатскую песню:

Первая болванка попала в бензобак...

– А ну прекрати свое трень-брень! – строго приказывает от печки Катя.

Кто-то из угла добродушно перечит:

– Пусть играет. Может, боль немного заглушит.

Сержант энергично откашливается, собираясь запеть если не лучше, то во всяком случае громче.

Первая болванка попала в бензобак,
Вылез я из танка сам не знаю как... —

снова фальшивит он, видно, понимает это и, встретившись с немцем взглядом, зло обрывает запев.

– Чего зенки выпучил, фриц? Не нравится? Может, лучше умеешь? Что ты вообще умеешь, фрицевская морда?

– Нэмножко, – вдруг отчетливо произносит немец и протягивает руку к гитаре.

Сержант, набычив голову, с полминуты почти в неистовом недоумении смотрит на него, будто решая, стоит ли всерьез принимать произнесенное им слово.

– А ну, а ну! Изобрази-ка... Посмотрим, что ты умеешь. Ну! Давай! Дуй! – неожиданно решает он и отдает гитару.

Немец осторожно берет ее, устраивает на коленях и, тихо перебирая струны, левой рукой подвинчивает шурупы. В углу снова вскидывается забинтованный. Он ничего не видит и сквозь едва сдерживаемую боль кричит с отчаянием в голосе:

– Ага, фриц! Почему вы его не прикончите? Почему вы с ним цацкаетесь?

С соломы поднимается его сосед и легонько, словно ребенка, кладет обгоревшего на спину:

– Ладно. Тихо. Я сам. Подождите.

Глаза этого человека из-под нахмуренных бровей в тусклом свете «катушки» недобро сверкают в сторону немца. Обгоревший корчится в муках и стонет, сжав зубы.

Немец не спеша настраивает гитару, мы все с затаенным вниманием следим за ним – все же не часто приходится видеть, как фашист упражняется в музыке. Интересно, что у него получится. У сержанта на узколобом лице уже не ухмылка, а строгость и угроза. Мне кажется, если немец чем-то не угодит, то ему уже не спустят – придется тогда защищать. Тяжелораненый на койке поворачивает набок вспотевшее лицо и с мучительной обреченностью в расширенных глазах также следит за немцем. Похоже, он ждет чего-то, и это ожидание на короткую минуту словно притупляет его страдание. С девичьим любопытством коротко оглядывается Катя и хмурится. Почему-то я начинаю хотеть, чтобы немец действительно сыграл неплохо. Невольно мною уже овладевает сочувствие к нему в этой хате. Все же он «мой» немец.

И действительно, он быстро настраивает гитару и начинает сноровисто перебирать струны. Простой, всем известный мотивчик наполняет сумеречную тишину хаты:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч...

Вот так чудо – вот тебе и немец! Играет наше, русское, как заправский русак. И раненые, гляди ты, притихли, ни один не вякнет ни слова – слушают. Сержант, видно, тоже теряет свое грозное намерение. Кто-то в углу вздыхает, потом всхлипывает – ага, плачет. Кажется, это обожженный. Ну да что же ты сделаешь! Что мы все тут, в этой хате, можем сделать, кроме как терпеть боль. Кто больше, кто меньше, кто на день-два, кто на долгие месяцы. Ожоги же будут болеть до самого конца, пока не заживут начисто, – нет худшей боли, чем от ожогов. Теперь нам одно – сжав зубы, свыкаться с болью, думаю я. Там, в степи за Кировоградом, наступают, окружают, отбивают атаки, освобождают села и станции, а мы тут – сплошная концентрация боли. И потому плачь, боец, не стыдись. Говорят, от плача становится легче. И не приставай к немцу, черт с ним, пусть живет, все же и он человек. Вон как играет!

Немец тем временем кончает играть. Сержант на краю кровати смущенно сдвигает измятую, с растопыренными ушами, шапку:

– Здорово, шельма! Ничего не попишешь!

– Хорошо шпарит, – сдержанно одобряют в углу. – А ну еще что.

Немец легонько прикасается пальцами к струнам, пробуя их звучание. Сержант подобранными глазами разглядывает его сверху. Видно по всему, эта игра пошатнула в нем привычную грубоватую самоуверенность и затронула приглушенное чувство обычного человеческого любопытства.

– Ты кто, фашист? – спрашивает он, в упор глядя на немца. – За Гитлера?

– Гитлер капут! Гитлер плёхо, – быстро отвечает немец привычной фразой.

Я смотрю на него и чувствую, как что-то в нем уже переменялось, будто ожило. Взгляд избавляется от заметного страха и перестает пугливо бегать по лицам. Снисходительное внимание русских заметно ободряет его.

– Вот это я понимаю! – говорит сержант и бесцеремонно, но уже без угрозы хлопает его по плечу. – Что, сам сдался? Сам плен ком?

– Я, я. Сам, – подтверждает немец.

– Правильно. Одобряю. Дай пять.

Сержант коротко пожимает локоть его занятой гитарой руки и уже почти дружелюбно предлагает:

– А ну изобрази еще что-нибудь! Может, вот эту: «На позицию девушка провожала бойца...»

– Огонёк! – догадывается немец и быстрым пробегом по струнам повторяет мелодию.

Удовлетворенный его догадливостью, сержант одобрительно кивает:

– Вот, вот!

Немец вполне прилично наигрывает «Огонек», и я удивляюсь его умельству по части наших песен. Сержант хрипло подпевает, а меня начинает клонить в расслабляющую сладость дремоты. Я чувствую: не надо поддаваться ей, нельзя, мало ли что... Тревога в душе какое-то время борется со сном, но постепенно сон осиливает все – и заботу, и тревогу, и

МОЮ БОЛЬ В НОГЕ...

Глава десятая

Мне что-то мешает, тревожит. Подсознательно я стремлюсь во власть забытья, где нет ничего, только сон. Но это «что-то» сильнее меня, сильнее моей усталости, оно вырывает меня из сладостного отсутствия, и я просыпаюсь. Только где я? Какие-то люди, встревоженные выкрики, далекие и близкие голоса. И вдруг сквозь сонливое оцепенение прорываются слова, которые сразу возвращают меня к реальности:

– Младшой! А младшой! Твоего немца забирают...

«Немца? Какого немца?.. Ага! Я же в санчасти». Я вскидываю тяжелую голову – напротив в хате, все в том же призрачном свете коптилок, стоит «мой» немец и возле него двое – один в шинели, второй в полушубке. Это – Шашок и Сахно.

Сахно оборачивается на голос, затем – ко мне. На его выбритом лице с низко надвинутой на лоб черной кубанкой угрюмая важность начальника.

– Вы куда? – осипшим голосом говорю я. – Это пленный.

– Младшой, не давай! Пусть сами попробуют в плен взять, – подбивает с койки сержант.

Сахно круто поворачивается к нему:

– А ну замолчать! Вас не спрашивают, товарищ сержант!

И ко мне, несколько сдержаннее, но все тем же приказным тоном:

– Василевич! Пройдемте с нами!

– Куда он пойдет? У него нога!

Это – Катя. Она тут же за их спинами – в мигающем свете «катюши». Я вижу ее светлые, рассыпанные на голове волосы и, не понимая еще, в чем дело, но чувствуя, что мне не надо поддаваться им, говорю:

– У меня нога. Вот!

Сахно окидывает меня недоверчивым взглядом и, не произнеся ни слова, возвращается к немцу:

– А ну вэк!

Шашок открывает дверь, Сахно легко толкает в нее пленного, который на глазах мрачнеет, и, не взглянув ни на кого, выходит.

Взяли – пусть. Мне его не жалко, только развяжет руки. Раненым же, которых, кстати сказать, прибыло в этой хате, самоуправство этого человека не нравится.

– Вот и доигрался! Сидеть бы да сопеть в две дырки.

– Повели и шлепнут.

– Факт, шлепнут.

– А кто они? – спрашивает кто-то из угла.

Ему никто не отвечает. Катя от порога взмахивает рукой, давая тем знак замолчать. Все настороженно прислушиваются, я тоже. В сенях слышна какая-то возня. Сквозь щель в двери мелькает свет фонарика, доносятся приглушенные голоса:

– Повернись, живо!

– Держи!

– А ну, посмотри сапоги.

– Карманы обшарил?

– Пусто. Все очистили.

– Ладно. Черт с ним...

Сержант ворочается на койке и плюется:

– Стервятники! Была б моя власть – я б их!..

Катя надевает на голову шапку и подпоясывает полушубок. Ее подвижные глаза осуждающе косятся на сержанта.

– Чья бы коровка мычала, а твоя б молчала. Сам такой.

– Я такой? Я не такой! – деланно распалается сержант. – Я кровь проливал. Если что – я кровью плачу. А эти?..

– Ладно тебе. Наплатился...

Круглое рябоватое лицо сержанта расплывается в шутливой улыбке:

– Ты меня не трожь, рыжая. Я злой и контуженый.

– Ханыга ты! – в упор объявляет Катя, шевельнув русыми бровями. В глазах ее, однако, игривость. Видно по всему – этот ершистый десантник все-таки ей нравится.

– Рыжая! Ах ты!..

Сержант делает стремительный выпад, чтобы ухватить Катю, но та бьет его по парусиновому рукаву и уклоняется.

– Ханыга!

Девушка прорывается к двери, но не успевает ее толкнуть, как дверь распаивается. На пороге опять появляется немец, за ним входят Шашок и Сахно. Кубанка у Сахно лихо сдвинута на ухо, колючий взгляд подозрительно бегаёт по лицам людей, будто говоря: «А ну, что вы тут без меня думали?» Поведя сюда-туда фонариком, он подступает ко мне.

– Вы что, в самом деле не можете? И встать не можете?

– Нет, почему же...

– Тогда встаньте.

Я немного удивляюсь, зачем понадобился ему, и пробую встать. Нога почему-то отяжелела, повязка набрякла кровью. Где-то в глубине раны дергает – кажется, в эту ночь обработать рану уже не придется. Но куда он меня поведет?

– Оружие брать?

– Не надо.

Я кладу на солому свой ППС, который мне, одноногому, довольно-таки мешает, и опираюсь на чью-то спину. Сахно неуверенно окидывает фонариком обшарпанные стены мазанки. Яркий глазок света останавливается на завешенном одеялом проходе.

– А ну пройдем туда!

Вслед за ним, хватаясь по очереди за кровать, лавку и печку, я допрыгиваю до перегородки. Капитан отворачивает одеяло и, посветив фонариком, выгоняет оттуда двух сонных раненых. Мы заходим в темноту, и Сахно приказывает Шашку:

– Давай свет!

Шашок быстро вносит «катушку», возле фитиля густо присыпанную солью, ставит ее на стол и сам удобно пристраивается на скамье. Я присаживаюсь на какой-то сундук в конце стола. Сахно садится напротив. Взгляд его придиричиво вливается в меня:

– Давно тут?

– С вечера.

– А ногу где ранило?

– В степи, где же. На танки напоролись. Да вот он знает, – киваю я на Шашку.

Тот, однако, не двинет и бровью, будто ничего и не помнит, будто и не был с нами в кукурузе. Безразличный ко мне, он копается в полевой сумке, выкладывая из нее бумаги.

– А где Кротов? – вдруг быстро спрашивает Сахно и во все глаза, не моргнув, смотрит на меня.

– Кротов погиб.

– А двое пленных?

– Те удрали, видно. Хотя один тоже убит. Остался в кукурузе.

– Убит? – с язвительной иронией переспрашивает Сахно.

Я недоуменно заглядываю в его ярко освещенное «катушей» лицо. На нем маска сдержанной до времени подозрительности и недоверия.

– Убит, факт.

– Кем убит?

– Ну немцами, кем же еще?

Сахно кивает Шашку:

– Так, записывай.

Тот разворачивает на столе блокнот в частую мелкую линейку с черным немецким орлом на обратной стороне обложки. Блокнот – трофейный, это точно, но я невольно задерживаюсь взглядом на этой эмблеме, и что-то вызывает во мне неосознанный еще протест.

– Значит, пленный немец убит немцами? Так? И Кротов также убит немцами?

– Ну конечно.

– А ну расскажите подробней.

– Что рассказывать! Вон старшина с нами ехал. А потом он вернулся, а мы и наскочили.

Я коротко, без особой охоты передаю суть нашей злополучной стычки с немцами.

– Так-так, – оживляется Сахно и грудью налегает на стол. Стол скрипуче подается в мою сторону. От капитана сильно разит овчинной кислятиной нового полушубка.

– Так, так, интересно. Ты записывай, Шашок.

– Записываю.

Шашок, оттопырив нижнюю губу, не очень сноровисто, но старательно скребет авторучкой в блокноте. «Что тут записывать? – думаю я. – Что тут непонятно, в чем они сомневаются? Неужели подозревают в чем-то недобром Кротова?» Глаза мои не могут оторваться от фирменного орла на обложке, и гнев во мне все увеличивается.

Сахно тем временем продолжает допрашивать:

– А почему вы не побежали за ним?

– Я и побежал. Как ударила очередь – сразу побежал. Не за ним – за немцем.

– А что было раньше – очередь, или раньше он побежал?

– Очередь.

– Очередь, так? А вы же сказали, что Кротов кинулся бежать до очереди.

«Путает. Ловит. Пошел ты к чертям! Попал бы туда, пусть бы тогда и замечал, что раньше, а что позже», – раздраженно думаю я и говорю:

– Это все почти разом. Немец кинулся в сторону, Кротов за ним. Тут и очередь.

– Значит, все же раньше Кротов побежал за немцем. Так и запишем.

Что они меня ловят! Что ему надо, этому человеку? Что им до мертвого Кротова?

Но Сахно, очевидно, знает, что ему надо. Он удовлетворенно откидывается на лавке, достает из-за портупей на груди засунутые туда перчатки и громко хлопает ими по ладони.

– Вот это и требовалось доказать.

– Что?

– А это самое.

Сахно встает, привычно поправляет кобуру на ремне и начинает аккуратно натягивать на пальцы перчатки. Они чего-то добились от меня, но я не понимаю их цели. Я только чувствую, что они перехитрили, и гневный протест во мне против этого их бесцеремонного наскока продолжает расти.

– А теперь подпиши, младшой, – говорит Шашок и подсовывает мне тот самый блокнот. Невольно во мне что-то завязывается в тугий непокорный узел.

– Не буду подписывать.

Шашок замирает рядом. Сахно останавливается за моей спиной.

– Как это не будешь?

– Не буду, и все!

Оба на несколько секунд умолкают. Я чувствую их растерянность и знаю, что для меня это может кончиться плохо.

– Это почему? – с недоумением и некоторым даже любопытством спрашивает Сахно. Освещенное снизу тупоносое, старательно выбритое лицо капитана скрывает угрозу.

– А что вы цепляетесь к Кротову? Что он вам сделал?

Не отвечая на мой вопрос, Сахно подступает ближе.

– Не прикидывайтесь! Вы отлично понимаете, что он сделал!

– Ничего он не сделал! Он погиб!

– Ах, погиб! – вдруг взрывается капитан и хватает со стола блокнот. – Погиб! Ну тогда пеняй на себя, сопляк! Понял?

И тычет под нос блокнотом:

– А ну подписывай!

– Сказал – не буду!

– Пожалеешь! Да поздно будет.

Пусть – пожалею. Но я не хочу возводить напраслину на человека, который мне не сделал плохого. Хлопцы за перегородкой утихают. Наверно, отсюда слышно все, но пусть! Что они мне в конце концов сделают?

Я жду нового взрыва крика, может быть, даже угроз с пистолетом – жду схватки и готов к ней. Я не боюсь. Я уже решил на все и намерен держаться твердо. Но Сахно вдруг шагает к двери.

– Хорошо! Мы еще вернемся! Мы еще поговорим с тобой! Понял?

Шашок торопливо пихает в сумку бумаги, блокнот и вслед за капитаном выходит. Я не спеша поднимаю со стола «катюшу». Руки мои дрожат.

В хате гул. От порога ступает Катя. Оказывается, она не выходила, была тут и все слышала. Я знаю, она заступится. У меня уже родилась и живет где-то в душе тихая признательность к этой девушке. Только теперь я хочу сказать ей: «Не надо».

– Что пристали к младшему? – бесцеремонно говорит Катя. – Кротов убит.

Сахно щелкает фонариком и направляет его в круглое, по-мальчишески обветренное и грубоватое лицо Кати. Девушка мучительно хмурит брови, но не закрывается от света – выдерживает все с вызовом в серых глазах.

– А ты видела?

– Видела! – моргнув наконец от резкого света, говорит Катя. – Если б не видела, не говорила бы.

– Проверим! – многозначительно обещает Сахно, не сводя кружка света с ее лица.

Катя вдруг резко бьет его по руке:

– Иди ты со своим фонарем. Чего слепишь?!

Сахно сдержанно опускает фонарик.

– Проверим!

– Вот фрица лучше проверь. Если такой проверяльщик ловкий.

С койки отзывается сержант:

– Проверяли уже и фрица. Сколько можно!

– Не ваше дело! – Сахно зло оглядывается. – Надо будет – еще проверим. Кого нужно.

Они идут к двери. Шашок откидывает на толстый зад не менее толстую полевую сумку. Забирать немца как будто они не намерены.

– Нечего угрожать, – говорит кто-то из угла. – Нас уже проверили. Осколками проверили. А то наел харю и угрожает!

– А ну тихо, пехота! – прикрикивает сержант.

Сахно и Шашок не задерживаются. Делают вид, что эти выпады их не касаются. И только сильнее, чем нужно, грохают дверью снаружи.

Возбужденный, я ставлю на припечек «катушку» и перевожу взгляд на свое место у стены. Там в полумраке, сгорбившись, сидит на соломе немец.

– А ну марш отсюда! – прикрикиваю я тоном Сахно.

Немец спохватывается и вскакивает, уступая место. На койке поворачивает голову сержант:

– Ганс, садись передо мной. Посадил бы рядом, да некуда.

Действительно, на койке тесновато, хотя там уже только один раненый. Того, что хрипел, уже нет. Немец, потоптавшись, неохотно подбирает длинные ноги и садится напротив сержанта. Тот, видно, уже непрочь помириться с пленным. С «моим» пленным.

А, в конце концов, черт с ним! Чем он дальше от меня, тем лучше! Что я, обязан все время заботиться о нем, оберегать, заступаться? Такой он «мой», как и сержанта, Кати или кого-либо еще. К тому же, может, какая-нибудь сволочь, из-за которой опять потащат к капитану Сахно.

Я злой и недобрый. Болит натруженная нога, на душе противно, будто я совершил подлость. Скорее бы дожидаться утра да оставить эту хату, это село, которые принесли мне одни неприятности.

Глава одиннадцатая

Га-ах!

Улица вдруг озаряется разноцветной огненной вспышкой. Пешеходы, радостно вздрогнув, вскидывают вверх лица. Мерцающие красно-зеленые отсветы разливаются по мостовой.

Га-ах! Га-ах! – туго отскакивают от фасадов второй и третий упругие воздушные удары. Разноцветный ракетный веер зажигает над улицей небо. Величественный каскад огней над головой достигает зенита и, не задерживаясь там, с шуршанием оседает вниз. Тени от деревьев и фонарных столбов торопливо бегут по блестящему бульжнику мостовой. В окнах этажей мелькают сине-красно-зеленые огненные сполохи.

Фейерверк вырывает меня из прошлого. Я оглядываюсь. Незнакомые строения, узкий, малолюдный тротуар. Бульжную мостовую пререзают трамвайные колеи. Несколько дальше – глухой неокрашенный забор с козырьками и обрывками афиш на досках. Черт знает, куда меня занесло.

Под тусклым фонарем на краю тротуара смущенно останавливается низенькая старушка с посошком и сумкой в руках. Испуганно вглядывается в полное отсветов небо. Из сумки блестят фольгой головки молочных бутылок. Кончик посошка мелко дрожит на асфальте.

– Не бойся, бабка. Это салют.

Старушка поднимает на меня морщинистое лицо. Под ее костлявым подбородком торчат два уголка старомодно подвязанного платка. Видно, она не слышит и пристально смотрит на меня с раскрытым беззубым ртом.

– Сынок, не война ли это опять? Га?

– Рано, бабка. Еще солдат неросло.

– Слышать, будто орудия стреляют. В аккурат, как тогда.

К уличному перекрестку с визгом и грохотом катится трамвай. Из переулка выскакивает «Волга». Старушка нерешительно ступает на мостовую и испуганно возвращается на край тротуара.

– Может, помог бы? А, сынок?

Я беру ее под руку. Старушка отрывает от тротуара свой посошок и мелкими шажками идет со мной на середину улицы. Рядом, легко опередив нас, перебегают две девушки.

На середине нас настигает новый воздушный залп. Многоцветная вспышка захлестывает над крышами небо. Девушки, проворно мелькнув лодыжками, вскакивают на тротуар и оборачиваются.

– Линочка, какая прелесть!

– Чудо!

Старушка вся сжимается и от страха, кажется, вот-вот готова присесть.

– Ой, Боже милостивый! Ой!

– Не бойтесь! Что уж вам за себя-то бояться?

– За себя, – недослышав, охотно соглашается старушка. – Больше за кого же? За сынков уже отбоялася. Нет уже сынков.

Я догадываюсь о ее беде и не хочу беречь материнскую память. Откровенно говоря, нет уже желания и сочувствовать. Слишком часто это приходится делать. Теперь я только сухо успокаиваю:

– Ничего, ничего, бабуся.

Мы переходим улицу. Сзади с грохотом проносится трамвай. Девушки жмутся одна к другой локтями и, притопывая от нетерпения, поглядывают в небо. Должно быть, для них самое яркое олицетворение войны – вот этот салют. Книжки о ней – скука. История – тоже. Но салют – это зрелище, и они его обожают.

– Ах, сынок, за кого же мне осталось бояться? – просто, как о чем-то будничном, говорит старушка. – Старик в блокаду в лесу голову сложил. Старший, Семёнка, под городом Воронежем от ран умер. Гришутку в студеной стороне – как же это ее, уж и забыла... Мурманской, кажется, зовется. Там убили. А младший, Витяшка, так тот в Черном море. утоп. Капитаном был. Правда, за среднего Миколку еще и теперь сердце болит. Что ж... Столько лет. Если бы жил где, то отозвался бы. А то как пошел под Аршаву, так и пропал.

«Целая география», – думаю я. География и история в одном сердце. А сколько их по стране, таких старушек, что вырастили и отдали войне своих сыновей, чтобы вот так коротать немощные годы в тоске и одиночестве.

Старушка тяжело взбирается на тротуар и успокаивается, будто тут взрывы ее не достанут.

– Ну что же они? Так долго! – нетерпеливо притопывают на краю тротуара девушки.

Замедляя шаг, мы подходим к первому же подъезду, и старушка останавливается.

– Ну спасибо тебе, сынок. А то так боязно ходить тут. Знаешь, раньше мы на Комаровке жили, да вот дом на ремонт взяли. Так теперь восьмой месяц у чужих маемся. Ну пойду. Пока сготовишь поужинать... Да и Витенька заждался. Один дома.

– Ну, так Витя все же дома? А говорила – утоп...

– Так это же внучек. Дочернин. С ней и живу. Сынков Бог отобрал, одна дочушка осталась. И то первый ее, с войны придя, вскорости умер. С другим живет. Трое деток у нее.

Старушка пробует улыбнуться мягким беззубым ртом. Морщинистое ее лицо на секунду распрямляется от светлого проблеска ласковости и доброты.

– Ну бывай, бабка!

По-старчески сосредоточившись, она клюет посошком в асфальт, чтобы идти, но тут же оборачивается:

– Сынок, ты, вижу, добрый. Что я тебя хотела спросить: ты не по строительству, случайно, начальник?

– Нет, бабка. Не по строительству. И вообще никакой не начальник.

– Не начальник, говоришь. А я гляжу – рассудительный. Да и на войне, кажись, был: хромаешь, ранитый, значит. Думала: начальник. А то, может, помог бы? Так долго ремонтируют, из силы выбились.

– Нет у меня такой власти, – говорю я. – Да и не здешний я. Проездом.

– Проездом! – упавшим голосом повторяет старушка и, как-то быстро повернувшись, неслышно исчезает в мрачной щели подъезда.

Я окликаю девушек:

– Скажите, это какая улица?

Как по команде, они вдруг поворачиваются. Из-под мохнатых ресниц стреляют любопытствующие взгляды. Какие-то уж очень стройные, легонькие и похожие одна на другую. Как сестры.

– А вам какую надо?

– Да мне чтоб, к центру.

– К центру – туда. К вокзалу – туда, – машет одна поочередно в оба конца улицы.

На минуту я останавливаюсь. Зачем мне идти к центру? Все равно в гостиницу уже не устроишься, время позднее. Не лучше ли отправиться на вокзал? Там хоть можно как-нибудь скоротать ночь. Среди людей всегда веселее, не так донимают мысли. Опять же хочется есть. Кажется, я так и не поел сегодня. Только выпил водки.

И я поворачиваю к вокзалу. Девушки сзади кричат:

– Гражданин, не в ту сторону! Центр – туда.

– Спасибо. А я – сюда.

Не оглядываясь, я слышу, как они там хихикают:

– Чудак. Он действует от обратного.

– А может, это шпион? Я читала...

Я внутренне улыбаюсь. Конечно, они читали про разные удивительные истории. Как по окраинным улицам поздно ночью рыскают шпионы, выпытывающие у простаков важные сведения. В карманах у них пистолеты, вмонтированные в авторучку. В протезах фотоаппараты. Надо быть бдительными.

Не бойтесь, девушки, я не шпион. Просто я чересчур разбередил свою душу сегодня. Может, это и не совсем подходяще в такой светлый, торжественный день с красочными салютами в майском небе. Но на то есть причины.

Покоем и вечерним уютom светятся окна домов. Тускло горят витрины промтоварных магазинов. На углу из большого гастронома выгружают тару. Высокие штабеля проволочных ящиков с бутылками, мелко звякая, сдвигаются на тротуар. Рабочие ловко орудуют железными крючками. Одна за другой спешат женщины-хозяйки: с сумками, хлебом, кулками – торопливые покупки на исходе дня. Им не до праздника. До отдыха им также еще не близко – надо прибрать, накормить, приготовить что-нибудь к завтраку. Мужчина на краю тротуара, бережно придерживая, катит велосипед с картонным ящиком, хитроумно прикрепленным к багажнику. Не иначе телевизор из универмага. Рядом – жена. Они о чем-то оживленно спорят – видно, никак не решат, в каком углу комнаты «утвердить» покупку. Что же, в час добрый!

За магазином на углу открывается более широкая улица, в конце которой – залитая светом площадь. Это вокзал. На тротуаре поток пешеходов оттуда – с чемоданами, узлами, свертками, кажется, пришел поезд. Встречные идут по-одному, группками, парами. Проходят счастливые влюбленные, наверно, только что встретившиеся после разлуки. Он в нейлоновой рубашке с закатанными рукавами, она – в узкой коротенькой юбчонке, из-под которой доверчиво поблескивают белые колени. А вот мать ведет за руку девочку, которая все время оборачивается назад, и мать то и дело строго на нее прикрикивает. Но позади интересно! Двое в сбитых, перевернутых козырьками назад кепках уже едва держатся на ногах и, вцепившись один в другого, ведут далеко не праздничный диалог:

– Костя, сукин сын! Ты мне друг или нет?

Костя, однако, не слушая, широко размахивает рукой:

– Мы их били? Били! И будем бить! Чтобы дух из них вон! Кишки на телефон!

Широкий тротуар становится им тесен, и они взбираются на газон. Но там деревья. Тогда, наткнувшись на одно из них, гуляки принимают самое уместное в таком случае решение:

– Лешка! Леш.. Отдохнем?

– Лады!..

И падают оба под липу.

Глава двенадцатая

Времени между тем проходит немало. Видно, уже полночь или даже позже. Я не сплю и после всего, что произошло тут, невесело гляжу в печь, которая жарко пылает, гоняя по стене над койкой мерцающие отсветы.

Возле печки, шурша соломой, хлопочут санитары и Катя – они варят картошку. Катя без полусубка, покрасневшая, вся как-то по-хорошему оживившаяся от этой домашней женской работы, хлопотливо двигает казанами на припечке. Сержант, наверно, потеряв интерес к немцу, который молча сидит рядом, перевешивается грудью через койку и своими широкими лапищами все норовит ухватить девушку. Та едва ускользает от его рук, изредка не очень больно хлопая его черенком ухвата по голове. Сержант хохочет, сдержанно улыбается немец. Санитары, однако, привычно не обращают внимания на молодых.

В хате приглушенный гомон; дым от сигарок перемешивается с гарью жженой соломы. Тихо стонет в полумраке кто-то из раненых, и скользят по потолку и простенкам огромные, неуклюжие тени. Мерцающие отсветы от печи то горячо вспыхивают, то тускло трепещут на облупившихся стенах мазанки.

Скоро, наверно, сварится картошка. Я уже ощущаю ее душистую парность в хате и порой забываю о ране, о степи с танками, о своей стычке с Сахно, которая черт знает чем еще кончится. Я прислушиваюсь к каждому стуку в сенях – только скрипнет дверь, а мне уже кажется – это за мной. Но это ходят бойцы, носят солому, воду. А раз в хату вваливается высокий, в расстегнутой шинели санитар. В обеих руках у него что-то серое и мягкое, которое он сразу бросает на пол.

– Ой, что это?

Катя испуганно шарахается в сторону. Санитар тихо смеется, ослабив широкие, будто лошадиные зубы. На полу у его ног две неподвижные кроличьи тушки.

– Где ты их взял? – удивленно спрашивает Катя. Испуга в ее голосе уже нет, есть удивление и радость – в самом деле, довольны были картошкой, и вдруг крольчатина.

– Там, в сенях, – кивает санитар. – Норы ого!

Он снова выходит добывать из нор хозяйских кроликов. Катя с нескрываемым сожалением на лице поднимает за длинные уши серую мягкую тушку, минуту в тихом раздумье смотрит на нее и протягивает низкому санитару:

– На-ка, освежуй!

Санитар озабоченно сдвигает на затылок шапку. Оказывается, он не умеет или не хочет исполнить это крестьянское дело, так же как и сержант и Катя. У других ранены руки. Тем временем санитар приносит из сеней еще одного убитого кролика. Но он тоже не мастер свежевать и кивает в сторону немца:

– Вон Фриц пусть! Нечего нахлебничать...

Немец, кажется, уже освоился в этой хате и с затаенным интересом наблюдает за тем, что происходит возле печи. Видно, он догадывается, в чем дело, и не заставляет себя упрашивать:

– О фройлен! Могу это сделайт.

Катя секунду медлит. Округлив глаза, испытующе смотрит на немца, затем глаза ее, заметно наливаясь гневом, сужаются:

– Ах ты, шкуродер проклятый! Набил на людях руку!

– Ладно, ладно! Пусть! – обрывает ее сержант. – Давай делай, арбайт, Ганс.

– Нехай повозится, чего там, – замечает санитар. – Держи финку.

Он достает из кармана кривой садовый нож на цепочке, отцепляет и отдает его немцу. Тот с готовностью приседает на колени и при свете из печи прямо на полу начинает свежевать тушки.

– Айн момент, фройлен. Бистро. Бистро.

Мы все с любопытством следим, как он надрезает задние лапки, распарывает кожу и, словно чулок, снимает с тушки мягкую влажную шкурку. Сержант с койки похваливает:

– О, правильно, Гансик! Покажи класс. Сразу видать: спец! А то обленились, распанели на войне. Колхознички, мать вашу за ногу!..

Катя хмурит брови, наблюдая за ловкими движениями рук немца. Светлые отросшие волосы на его голове рассыпаются, и он оттопыренным большим пальцем то и дело откидывает их назад.

– Ага, гляди ты! Молодец! И тут мастер, – говорит кто-то из угла.

– Рукастый!

– Потому что работяга. Не то что вы, – говорит сержант. – Вот смотри, какую мне трубку подарил.

С озорной улыбкой на широком лице он показывает замысловато изогнутый мундштук с мефистофельской головкой на конце, повертывая его так, чтобы все видели. Но подарил – это уже слишком. Конечно, сержант взял его сам.

– Айн момент, фройлен! – бодро приговаривает немец. – Дас ист кароши братен. Жаркёя.

– Жаркое! Смотри, понимает! – восхищаются в углу.

– А что ж ты думал! Мало нашего добра пережарили за три года? Научились.

– Буде, не ворчи. Он хороший.

– Все они хорошие. Вот налетят под утро, так одни головешки останутся, – рассудительно говорит кто-то возле перегородки.

В углу вскидывается на соломе спеленатый бинтами обгорелец:

– Доктор! Доктор тут есть?

В хате все умолкают при виде этого белого, как привидение, всего в бинтах человека.

– Доктора нету, – говорит Катя. – Он оперирует. А что вам?

– Выбраться отсюда. Сколько можно ждать?

– Сказали, утром.

– Что значит – утром? – раздражается обгорелый. – Майора вон когда увезли!

– А майора в авиаторский госпиталь. Он – летчик, – говорит на кровати сержант.

– Летчик? Я тоже летчик. Вы что – не видите? Я обгорел! Отправляйте и меня.

Все неприятно молчат. Действительно, это не шутка, если обгорела половина кожи. К тому же – летчик. Летчиков мы уважаем. Было бы на чем везти, наверно, каждый уступил бы ему свое место.

– Ладно, потерпите немного. Вот скоро крольчатины наварим, – примирительно говорит Катя и прикрикивает на немца: – А ну, Гитлер, шевелись живей!

Но немец и так усердствует, даже вспотел. Нашей болтовни он не слушает – все его внимание сосредоточено на деле. Пожалуй, он неплохой дядька. Правда, как почти и все пленные, несколько глуповат с виду, потому что не понимает по-нашему. А так прост и услужлив, легок на руку и охоч к работе. Видно, отвоевался Фриц, и теперь, должно быть,

пробуждается в нем человек, мирный обыватель, работяга. Что ж – пусть! Мы добрые, расстреливать его не будем, а доброта тоже своего рода оружие.

Глава тринадцатая

Вкусно пахнет отварной картошкой и мясом. Катя, склонившись над казанами, раскладывает картошку в котелки, миски и даже пустую каску, которую, присев на корточки, держит перед ней широкоскулый боец-узбек. Напротив, на полу, с видом обиженного родственника сидит немец. Поварская работа у печи окончилась, нужда в пленном отпала, и он, видно по всему, без дела снова чувствует себя лишним.

В это время за Катиной спиной открывается дверь, и с облаком холодного воздуха через порог стремительно вваливается кто-то в густо заиндевевшей шинели.

– Привет! – весело бросает вошедший.

Молодое курносое лицо покраснелось от стужи, голос также выдает совсем еще мальчишеские годы. Он ранен и правую руку держит на бинте-подвязке.

– О, тут и фрицы! – удивляется парень, увидев немца. – Гут абенд, Фриц!

Немец вскакивает с пола и привычно щелкает каблуками:

– Гутен абенд, герр офицер!

– Вольно! – усмехается офицер.

И тут я улавливаю что-то знакомое в этой веселой заиндевевшей фигуре. В голосе, осанке, смехе пробивается что-то близкое, но неизвестно где слышанное и виденное. Постой, да это же...

– Стрелков! Юрка! – кричу я, пытаюсь встать у стены.

Парень бросает в мою сторону несколько растерянный взгляд и в недоумении раскрывает рот. Он не узнает. Впрочем, как тут узнать кого-нибудь в этой темени, которую едва разреживает одна мигалка на припечке (вторая уже потухла, кончилась «горючка»). И все же парень догадывается:

– Василевич?

– Я самый! Давай сюда!

Действительно, это Юрка, и я на минуту забываю о всех моих бедах, неудачах и даже о боли в ноге. Да и как не забыть, если это Юрка Стрелков, мой однокашник, друг, младший лейтенант, пехотинец, с которым мы полгода назад закончили одно училище и попали в одну армию. После того дождливого дня под Харьковом, где нас разлучили кадровики, я, по правде, уже и не надеялся увидеть его. И теперь вот такая встреча!

Широко ставя между лежащими свои заснеженные валенки, Юрка торопливо лезет ко мне, хватая левой рукой мои пальцы и крепко жмет их.

– Ленька! Ты жив, Ленька!

– Да вот видишь. А ты? – неуместно спрашиваю я. – Да, брат, сколько мы пережили врозь, друг без друга, сколько почувствовали, перестрадали. Были мы зеленые салажата, только и заботились о своем внешнем виде да свежеиспеченном офицерском достоинстве. Как-никак получили по одной звездочке на погоны. А теперь?

Едва справляясь с волнением, я гляжу в затемненное сумерками такое знакомое, оживленное лицо друга. И я замечаю на нем что-то новое, прежде неизвестное мне. Отпечаток трудно пережитого даже сквозь радость встречи явственно пробивается в его взгляде. В остальном же это лицо прежнее – тонкие юношеские черты, нежная округлость подбородка, которого еще не касалась бритва. Юрка тоже оглядывает меня и смеется:

– Какой ты обвязанный – не узнать!

– Ерунда! Бинтов намотали... А у тебя что – рука?

– Да, понимаешь, угодил я ненароком.

– Легко?

– Царапина. Вот только стрелять мешает. А так... Ну да знаешь, мы отыгрались! – Юрка вдруг радостно оживляется, глаза его блестят. – Уж так дали, так дали, чтоб ты только знал! Учинили побоище не хуже Ледового...

– Ты садись! Вот на солому.

Юрка опускается под стену со мною рядом, хлопцы отовсюду глядят на него – такого заснеженного, разговорчивого, веселого. А он, кажется, безразличный ко всему здешнему, полнится чем-то своим – большим и радостным.

– Ты понимаешь! Ты понимаешь! Я же только из степи. Вот час назад! Ну мы им там и задали! Да так ловко, без выстрела, без звука подпустили на пятьдесят метров... Комбат на этот раз просто молодчага...

– Постой, постой!.. Ты где? Я даже не знаю, в какой ты дивизии. У Терехова?

– У какого тебе Терехова? – готов рассердиться Юрка за такое мое предположение. – У полковника Калюжного. Гвардия!

– Так, так...

– Ты понимаешь! За десять минут мы сделали из них мясокомбинат. Разом как ударили из всего оружия. Шесть станкочей, две сорокапятки. Ты бы поглядел, что там делалось!..

Я и так рад. Еще толком не зная, что там произошло, я уже готов завидовать Юркиной ратной удаче. Да я и завидую. Что и говорить, пехоте не часто перепадают на фронте минуты вроде только что пережитых Юркой, когда грудь распирает от хмельного счастья удачи. Нам привычнее серые будни войны – стужа, мокрые ноги, кровавые бинты на немывтом теле, уничтожающий немецкий огонь и как награда за все – короткий тревожный сон где-нибудь на соломенном полу в хате. У него же случилось что-то совсем другое, что-то огромное, удачливое, и я рад. Я слушаю и во все глаза гляжу на недавнего моего друга-курсанта. Шинелка на Юрке солдатская, но аккуратно пригнанная по росту (на это он был мастак и в училище, ничего не поделаешь – немного форсун и аккуратист). На воротнике ровно пришитые петлицы, наискось через грудь портупея, конечно, не в ОВС ^[4] полученная, а, видно, честно добытая на поле боя. Юрка, я очень, очень рад, что ты жив, что мы наконец встретились.

– Понимаешь, целую колонну, человек триста с артиллерией! Ты понимаешь или нет? – тормозит он меня за рукав.

– Понимаю, понимаю, Юрка. Но давай сперва подкрепимся. Эй, ты! – кричу я на немца. – Подай котелочек. На двоих.

Немец охотно подает нам плоский котелок, полный картофеля. Потом на погнутую крышку Катя кладет кусочек крольчатины.

– Вот вам и ножка, товарищи командиры, – говорит санитар, передавая крышку через головы других.

Юрка подвижными ноздрями жадно вдыхает воздух и удивляется:

– Что? Мясо? Вот это да! Ну коли так, то... Держи!

Он решительно отстегивает от ремня немецкую фляжку и протягивает ее санитару. Тот, не понимая, вертит ее в руках. Но тут над его плечом мелькает цепкая рука сержанта, и фляжка оказывается на койке.

– А ну, а ну...

В хате легкое замешательство, все поворачиваются в нашу сторону. Сержант же, придав комически глубокомысленное выражение хмурому лицу, исследует фляжку. Для этого он сперва тихонько взбалтывает ее и прислушивается.

– Шнапс?

– Что-то в этом роде! – живо отвечает Юрка. – Трофеи наших войск.

Сержант важно открывает пробку, гримасничая, нюхает рыльце и выразительно крикает от удовольствия.

Кто-то из угла кричит:

– Не ломай комедию! Разливай!

Сержант округляет глаза:

– А если отравлена? Нужна проба.

– Иди ты! Какая еще проба!

Ну конечно же, пробу берет он сам. Задирает голову и громко глотает, правда, только один раз. Раненые не отрываясь следят за его лицом, а сержант на минуту застывает, будто прислушивается к движению водки внутри. Потом решительно объявляет:

– Люкс! А ну давай тару! Младшой, от лица службы тебе благодарность!

– Служу советскому народу, старшине и помкомвзводу! – смеется Юрка и тут же обращается ко мне: – Ты понимаешь, я сам опорожнил восемь лент. Восемь лент – ты понимаешь? «Максим», как самовар, раскалился. Пятнадцать минут, и на снегу три сотни трупов.

Неожиданно тревожное предположение заставляет меня спохватиться:

– Стой! Это где? Не возле Алексеевки?

– Ага. Невдалеке. Видно, прорывались на запад, к своим.

– Пехота?

– Пехота и артиллерия.

– А танки?

– Что?

– Танков не было там?

– Нет, танков не было. Пехота. Глядим: идут к кукурузе, растянулись, как кишка. Ну комбат положил всех и командует: замри. Так удачно подпустили, луна светит, уже пуговицы на шинелях видны стали. И как врезали! – восторгается Юрка и несколько тише сообщает: – На меня наградной написали. На «Отечественную»... Второй степени.

«Отечественная» – это здорово. Надо бы поздравить, но я не поздравляю – я сосредоточенно вглядываюсь в раскрасневшееся лицо товарища, и его слова начинают отдаляться, глохнуть в моих встревоженных мыслях. Действительно, это уходила пехота, а где же танки? Значит, танки остались? Они на прикрытии. Пехота, очевидно, двинулась раньше, подтягивалась к Алексеевке, а танки... Танки, выходит, нацелились на нас.

Черт возьми, мне снова становится не по себе. Внимание невольно переключается на слух, и мысленно я оказываюсь во дворе. Не слышно ли чего? Нет, кажется, гула не слышно, только вдалеке проржал конь да кто-то, проскрипев на снегу, прошел возле хаты.

В деревне постепенно устанавливается ночная тишина.

А в хате тем временем начинается шумный беспорядочный говор.

– Ну, будем здоровы!

– Чтобы скорей раны залечивались.

– Катюша, не отказываться. Хоть немножко! За разведчиков.

- За пехоту-матушку.
- А Фрицу? Хлопцы, Фрицу налили? – беспокоится кто-то в углу.
- Нет, тебя ждали, – простуженным басом отзывается сержант и с полной алюминиевой чашкой для бритвы поворачивается к немцу: – Ганс!

Немец с несколько чрезмерной торопливостью вскакивает от печи и щелкает каблуками:

– Яволь!

– Держи.

Пленный аккуратно принимает из рук сержанта чашку. Лица его, повернутого от света, не видно, но, кажется мне, на нем – довольная добродушная улыбка. Немец слегка приподнимает чашку и провозглашает в полупоклоне:

– Гитлер капут!

– Давай, давай! – одобряют кругом.

– Ну поехали, ребята! За победу!

Я также поднимаю большую – на пол-литра – луженую кружку, на дне которой плещется немного жидкости: это нам с Юркой. Кажется, мы пьем с ним вместе первый раз в жизни, хотя почти год пробыли в училище. Но тогда было не до выпивки – тогда мечтали хотя бы поесть досыта. Известно, полуголодные тыловики. Теперь вот повоевали, уже оба ранены и потому пьем, как мужчины. А что же, разве не заслужили такого права? Мы убивали врагов и пролили свою кровь, сколько раз гонялась за нами смерть-матушка, но мы перехитрили ее и живем. Разве этого мало на войне?

Прежде чем выпить, я немного колеблюсь и влюбленно гляжу на Юрку.

– Юрка, дружище! Холера! Как хорошо, что мы встретились!

Юрка беззаботно смеется:

– Ну давай! До дна.

Нет, до дна нельзя. Три глотка обжигающей жидкости, потом – захватывает дыхание и – предательский кашель. Ого, видно, это не шнапс, похоже, спирт. Но тут – горячую картошину в рот и прядочку волокнистого белого мяса. После меня, также поперхнувшись, из кружки допивает Юрка.

А ничего себе – и выпивка, и горячая картошка (если бы еще хлеба!). Торопливо, с усиливающимся шумом в голове, едим, а из души уже рвется вместе пережитое, то, что отошло в прошлое, но вдруг воскресло во мне с приходом Юрки.

– Слушай, а ты Дроздовского не встречал?

– Дроздовский же погиб. Еще на Днепре. Под бомбежку попал.

– Гляди ты! Такой осторожный. А где это наш помстаршина Одинокоев?

– Одинокоев – ого! Одинокоев комбатом стал.

– Комбатом?

– Правда, ненадолго. Ноги оторвало. Под Пятихаткой.

– Жаль. А может, и нет? Зануда он.

– Зануда, – соглашается Юрка.

– А не знаешь, куда Кузнецов Валька пропал?

– Кузнецов? Понимаешь, не знаю даже, где он и воевал. У него же отец генерал.

Помнишь, ехали на фронт, все шутили над ним: Кузнецов, мол, к отцу адъютантом пойдет. А я как-то однажды – погоди ты, не знаю уж, где это и было... – как-то отошел в сторону от дороги, к могиле. Гляжу, табличка. Читаю и вдруг: младший лейтенант Кузнецов В. С. Точно, наш Валька. Вот тебе и адъютант.

– Да-да... Ну, ты ешь. Бери вот кость.

– Нет уж, кость ты бери. Я картошку.

Картошку мы едим дружно. Кость на крышке остается – ее не поделишь. Черт с ними – с танками, я уже их не боюсь. В конце концов, ни черта они нам не сделают. Ротмистровцы из пятой танковой уже, видно, окружили Кировоград, мы наступаем, наша берет. Плевать нам на танки! Пусть себе утюжат в степи кукурузу, завтра привалят «ИЛы», устроят им Сталинград.

Мне становится хорошо, легко, даже весело. Я люблю Юрку, Катю, этого арапистого сержанта в куртке десантника и тех вон санитаров, что с блаженными улыбками на щетинистых лицах подпирают плечами печь. И даже немца. О, как он старательно выскребает картошку из котелка – любо поглядеть.

Разговор в хате усиливается, оживление растет. Нет-нет да и раздастся смех. Раненые забывают про свою боль. И все Юркина фляжка!

В углу, под клубами табачного дыма, кто-то, смакуя сигарку, рассудительно, со скрытым желанием поразить своей удачливостью, рассказывает:

– Да-а. Я это давно заметил. Душа, она чутье свое имеет. Она, брат, тоже командует. Как-то лежу под тыном – село одно брали. Лежу тихо, пули верхом идут. Кажется, чем не укрытие. Да что-то меня будто подмывает – а ну, Петро, перебегай. Не хочется вставать, пули свистят, но как-то встал и через плетень сиганул к хате. И только я это упал под стенку, сзади ка-ак шарахнет! В аккурат на том самом месте. Вот, брат, как бывает.

В другом углу, возле перегородки, видно, собрались бывалые солдаты, и у них уже другая тема и другой разговор.

– Пуля что! Пуля аккуратная. Тюкнет – и маленькая дырочка.

– Особенно если навыйлет.

– Точно комар укусит. Месяц – и все готово, заживет, как и не было.

– Ну не говори. Бывает, рикошетом которая, та уж продырявит здорово.

– Пуля – что?! Осколок – вот это калечит!

– Осколок, оно, конечно.

– На четверть разворотит. Да еще доктора на две четверти располосуют.

– Ага. Рассечение называется. Я знаю. Уже четвертый раз попадает.

– Ну. Вот тогда повоешь. На квартал, не меньше.

А откуда-то неподалеку из шума и говора пробивается тихий, рассудительный голос человека, у которого, наверное, наболело на душе, ноет. И он делится, но не со всеми, а, видно, с одним, с тем, кто поймет и не высмеет:

– Понимаешь, пришел. А она возле меня увивается... Говорю: «Как живешь, Глафира?..» Так спокойна, но гляжу, мельтешит у нее что-то в глазах. А знаешь, люди мне уже кое-что шепнули... «Стерва, – говорю, – кому изменяешь?..» Понятное дело, ремень, он хоть и брезентовый, но твердый... Ну, завязал вещмешок и на станцию... Капитан говорит: «Ты что, Сокольников, досрочно?» – «Досрочно, – говорю, – желаю быстрее врагов бить...» – «Молодец, – говорит, – патриот. Берите, товарищи, пример с рядового Сокольникова».

Накинув на плечи полушубок, по ногам к нам пробирается Катя.

– А ну, подвинься.

– Пожалуйста, сестра, – говорит Юрка, с готовностью давая ей место у стены.

Катя молча садится, прикрыв колени полой полушубка. На койке с хмельным удовлетворением на лице очерчивается сержант:

– Ганс, ком!

Немец выдрессированно вскакивает с пола.

– Ты за кого? А ну скажи? Чтоб все слышали!

Пленный старается понять, но это ему не удастся, и он мучительно моргает глазами. Сержант старательно разъясняет:

– Ну кто ты? Буржуй? Рабочий? Фашист?

– Их бин дейч лерер! – наконец догадавшись, отвечает пленный.

Но бойцы вряд ли понимают его и вопросительно глядят из углов, со скамьи, с пола. Они пока что отвоевались и теперь добрые. В глазах удовлетворение и покой. И хотя белеют в сумраке забинтованные руки, ноги, головы, но это теперь не беда, а скорее удача, ибо главное – живы. И если все же болит где-то, то разве в том вина этого вот покорного, услужливого и даже пугливого немца, который сам сдался в плен? Немец, наверно, чувствует это и спокойно смотрит, как из угла пробирается к нему низенький в обмотках пехотинец с рябоватым от оспы лицом. Под накинутой шинелью у него толсто забинтованное плечо. Это, кажется, тот, что беспокоился, налили ли немцу выпить.

– Слушай, Фриц! А у тебя дети есть? – спрашивает он.

Немец не понимает.

– Ну дети, кумекаешь? Пацаны, вот такие? – ладонью он отмеривает высоту вровень с поясом.

– Киндер? – догадывается немец и торопливо отвечает: – Цвай киндер. Два ребьенка.

– И у меня двое детей! – радостно удивляется пехотинец, и его рябоватое лицо сияет в простодушном восторге.

И тогда из-под шинели в углу поднимается темная большая фигура. Не разбираясь, что под ногами, на кого-то наступив и пошатнувшись, этот человек бросается к немцу.

– Врешь, гад!

Большой и неуклюжий, в промазученной телогрейке, он дрожащими руками выхватывает из кирзовой кобуры наган и, взводя, щелкает курком. Немец отступает на шаг, руки его инстинктивно вскидываются навстречу танкисту.

– Стой! – кричит с койки сержант.

– Ты что? – кричу я, неловко вставая из-под стены. Кто-то еще кричит. Рядом быстрее меня вскакивает Юрка. Одной рукой он хватает танкиста за локоть:

– Спокойно! Спокойно!

Сержант, вскочив с койки, заслоняет немца.

– А ну спрячь свою пушку! – властно приказывает он. – Вояка!

– Зачем... это самое... детей сиротить? – спрашивает рябоватый боец.

И тогда высокий взрывается:

– Ах, детей! Таковую вашу... Его детей жалко! А моих кто жалеть будет?

Он бьет кулаком в свою грудь. На крупном костистом лице его ярость, губы дрожат, глаза ушли под лоб и не предвещают добра. Но все же хлопцы не дадут ему здесь учинить убийство. За сержантом, заметно испугавшись, стоит немец.

– Ты чего разошелся, как Гитлер? – говорит бойцу сержант и кладет руку на его плечо. – Ты же русский. Русский, да? Ну так чего ж ты, как бандюга, за пушку хватаешься? Он же пленный...

В хате становится тихо. Слышно, как в углу кряхтит обгоревший летчик. Его высокий сосед еще раз наделяет немца ненавистным взглядом и неохотно возвращается к товарищу.

Кажется, конфликт кое-как улажен. Сержант, прежде чем залезть на кровать, легонько толкает немца:

– Не дрейфь, Гансик. Давай трави дальше.

Немец нерешительно отступает на свободное место.

– Их никс наци. Их бин ляндререр, – говорит он поникшим голосом.

Я снова опускаюсь на солому возле стены. Рядом садится Юрка. Катя, кутаясь в полушубок, говорит:

– Не верю я ему.

– Ну почему? – не соглашается Юрка. – Бывают и среди них люди.

– Ирод он, а не человек.

– Почему так?

– Так.

– Вот те и раз! Это что такое? – вдруг удивляется сержант. В его руке колпачок от Юркиной фляжки, в который он наливал соседу по койке. Спирт в колпачке остался нетронутым.

– Эй, землячок, ты что махлюешь?

Он тихонько толкает раненого в плечо, еще недавно тот стонал и метался, а теперь и не пошевелится.

– Эй! – сержант встревожено присматривается к нему. – Да он уже готов!

К кровати подходят санитары, встает Катя. Они долго щупают у бойца пульс.

– Фу ты, холера! – не сдерживает досаду сержант. – И сто грамм не допил, чудак.

Санитары в молчаливой угрюмости за полы шинели стаскивают труп с койки и, напустив холоду, выносят его из хаты. Им помогает немец, который затем, не зная, куда себя девать, жметя к порогу. Но его скоро замечает сержант.

– Ганс, ком сюда. Место есть. Ну, что ж – помянем земляка, – говорит он и лихо опрокидывает колпачок.

Немец учтиво садится на койку:

– На здоровье!

Сержант крикает от удовольствия и хлопает немца по плечу:

– Правильно, Ганс. А ты где по-русски наловчился?

– Русише шпрехен? О, биль фаль^[5], – скромно отвечает немец.

Фаль! Будто знакомое слово, только я уж не припомню, что оно означает. В голове моей все устало путается, и я зову друга:

– Юрка! А, Юрка!

Юрка же, прислонившись к стене, молчит. Я заглядываю в его затененное лицо: вот тебе и на – он уже уснул.

Глава четырнадцатая

Юрка устало спит, уронив на грудь светлую голову. Здоровой рукой он осторожно поддерживает раненую и тихо посапывает в нос – по-домашнему мирно и сладко. Кругом успокаиваются, устраиваясь на ночь, раненые. Шум в хате постепенно утихает. Густо, не продохнуть, воняет шинелями, потом, бинтами. У меня сильнее начинает болеть нога. Уснуть я уже не могу и молча гляжу на моего сонного друга.

Эх, Юрка, Юрка! В самом деле, как это здорово, что мы вот так неожиданно-негаданно встретились сегодня, а завтра, возможно, сядем в санитарную машину и рванем в тыл – подальше от танков, от огня и бесконечных фронтовых тревог. А там – койка, чистое белье, покой и сон, сон... Может, нам повезет еще больше и мы попадем в один госпиталь. Вот было бы счастье.

Так же вот полтора года назад, совсем случайно и еще не зная друг друга, мы попали в один строй в училище и оказались в одной роте, в одном взводе и даже в одном отделении. Го д мы проспали на нарах рядом, и почти каждую ночь, под утро, он нетерпеливо толкал меня в бок за мою дурную привычку храпеть. Было нам очень несладко начинать службу по существу подростками, вчерашними школьниками, вдруг оторванными от книжной науки и брошенными в беспощадную строгость военного училища с его уплотненной учебой, бессонными нарядами, дежурством, изнурительной усталостью оборонительных работ. Постоянно хотелось спать, есть, отдохнуть, а взводные, из нашего же брата – курсантов предыдущих выпусков, сами не знавшие тут поблажек, не баловали ими и нас. Говорили: так нужно, для того чтобы фронт потом показался раем после того предельного напряжения, в котором нас держали в училище. В самом деле, десять часов занятий при полной выкладке, марши, учения, земляные работы на окраинах города (строился внешний оборонительный рубеж Саратова), ночью – дежурства на самолетостроительном и крекинге, которые бомбили немцы. Там, еще до фронта, мы познали войну, огонь и острую скорбь по друзьям, растерзанным бомбами или заживо сгоревшим в огромных нефтяных пожарах на крекингзаводе.

Это было очень даже нелегко, особенно если учесть сиротство многих из нас, родные места которых были заняты врагом. А немцы все перли и перли на восток, на Сталинград, Кавказ, стояли неподалеку от Москвы. И если все же нашлось такое, что давало нам душевную силу выдержать, то в нем немалую долю составило чувство товарищества с его неизменным юмором, добротой, искренностью. Все, оказывается, можно пережить, если у тебя есть друг, с которым многое делится пополам. Тогда все заботы и печали уменьшаются ровно вдвое, а радость – странное дело – вдвое увеличивается. И каким бы он ни был, твой друг, он становится второй половиной тебя самого и ты уже не можешь представить себя отдельно от него. Одним из таких друзей был для меня Юрка Стрелков.

Может, это и неприятно вспоминать теперь, но наше сближение началось с того, что мы поссорились.

Поссорились, как дурни, без серьезной на то причины, просто потому, что еще плохо знали друг друга. На политзанятиях, которые у нас проводили прямо в казарме на проходе между нарами, политрук Шаяхметов спрашивал о задачах, поставленных в первоммайском приказе Верховного, и я не мог их перечислить правильно. Не то чтобы я не знал этих задач, но политрук был формалист и требовал ответить слово в слово, как это было напечатано в

газете. Я же выучить их на память накануне не имел времени. Когда было опрошено ползвода, оказалось, что только курсант Стрелков может ответить более менее правильно. Вот тогда политрук и прикрепил Стрелкова к трем отстающим по политграмоте. Но когда Юрка подошел к нам после занятий, мы его не послушали. Более того, мы с ним поругались (подумаешь, нашелся без пяти минут замполитрука!). Мы сами не хуже его могли выучить четыре или пять пунктов приказа, только мы не учили.

Стрелков, разумеется, обиделся, брякнул дверью и ушел – думали, докладывать начальству, но докладывать он не стал. Последнее обстоятельство несколько поколебало нашу к нему неприязнь, и, чтобы не подвести его (и себя тоже), к следующим занятиям мы все как следует вызубрили.

Зимой в училище стало очень голодно. В нетопленных огромных казармах гуляла стужа. Леденящий заволжский ветер на многочасовых полевых занятиях насквозь продувал наши потертые, на «рыбьем меху», шинели. Мы мерзли, и оттого еще больше хотелось есть. Про еду мы думали всегда – на занятиях, в наряде, на вечерней поверке и даже, просыпаясь, в казарме ночью. Возле столовки и около продсклада всегда толклись курсанты – больные, освобожденные от занятий, те, у кого порвалась обувь и не было в чем идти в поле. Все с голодной тоской в глазах ждали счастливого случая раздобыть что-либо съестное.

Однажды мы с Юркой были в карауле и простояли ночь на двухсменном посту, который на день обычно снимался. Этот пост давал нам право отлежаться в караулке на нарах (если только не было к нам никаких дел у грозного бога роты – старшины Шквары). Впрочем, в тот день с рассвета первым завалился спать я, так как отстоял свое время на посту, и прохрапел до самого завтрака. Юрка же, сменившись позднее, побежал к столовке раздобыть харчей, и там ему подвернулся прямо-таки невероятный по тому времени случай.

Возбужденный, он пулей влетел в караульное помещение и, с трудом растолкав меня, еще не пришедшего в себя ото сна, потащил к продскладу. Оказывается, там нас ждала автомашина-фургон, в которой возили из города хлеб и к которой Юрка только что подрядился в грузчики. Заведующий складом, молчаливый пожилой мужчина в куртке, терпеливо ждал Юрку, хотя рядом, наперебой предлагая услуги, стояли человек шесть курсантов. И все же Юрка, рискуя остаться ни с чем, бегал за мной, и мы, едва переводя дыхание от усталости, наконец залезли в кузов машины. Заведующий сел в кабину.

Мы ехали, рассчитывая через час вернуться, наевшись свежего хлеба и (если повезет), может, еще и прихватив буханочку-другую про запас. Ради хлеба мы сознательно жертвовали завтраком – двухсотграммовой пайкой, миской супа и чаем, нам дороже был хлеб.

Правда, заведующий складом вскоре разочаровал нас. Оказалось, что, прежде чем ехать за хлебом, надо привезти мясо. Это было все же не то, что хлеб, но что поделаешь – раз влезли в кузов, то должны были слушаться. Около часу мы таскали на мясокомбинате бараньи туши в машину и наложили их столько, что едва поместились сами.

Потом, голодные, мы сгружали туши на складе и, не позавтракав (так как уже опоздали), на той же машине снова отправились в город. Но и на этот раз хлебозавод остался в стороне, мы приехали на базу, где нам была подготовлена еще более трудная работенка – погрузить целый штабель мешков с мукой. Пожалуй, каждый из нас в отдельности весил меньше, чем любой из этих стандартных шестидесятикилограммовых мешков, которые мы просто не могли поднять. Но что мы могли сделать, коли вызвались в грузчики? Правда, помог завскладом, и, когда мы муравьиным способом перетаскивали муку в машину, оказалось, что

сил у нас осталось только на то, чтобы самим залезть в кузов. А впереди еще ждала разгрузка. К тому же мы прозевали обед и опоздали в караульное помещение. В перспективе была гауптвахта, а может быть, и того хуже.

Но третий рейс действительно был за хлебом, и мы рискнули – все равно влипли. Что уж горевать по лишнему часу самовольной отлучки, если мы отсутствовали в казарме уже не меньше восьми часов.

Хлебозавод встретил нас такой концентрацией хлебного запаха, что мы готовы были забыть про все наши беды и вообще не возвращаться в тот день в училище. Поджаристыми, душистыми до охмеления буханками были уложены десятки ячеистых стеллажей с узкими проходами между ними. Целыми стеллажами взвешивали и отдавали на погрузку в машины. Мы были более чем голодны, казалось, могли съесть десяток буханок, но съесть даже кусочка тут было нельзя, и мы думали: пусть – наедемся потом.

Это «потом» представилось только тогда, когда в закрытой машине мы тряслись рядом с теплой грудой буханок и глотали, почти не жуя, мягкие, распаренные корки. Впрочем, много ли их можно было проглотить за каких-нибудь пятнадцать минут дороги по ухабам окраинной улицы? Потом мы разгружали – честно, до последней буханки. Кстати, контроль за нами всюду был более чем строгий, но мы надеялись, и надеялись не напрасно.

Завскладом немало помучил нас, но и неплохо отблагодарил. Мы получили три еще теплые буханки и побежали в свои казармы. Спешить, в конце концов, не имело смысла, так как на поверку мы давно уже опоздали. В городке все утихло, только по дорожкам возле казарм ходили патрули. Они-то и задержали двух похожих на воров или диверсантов нарушителей воинского порядка.

Стычка с ними была не очень приятной, зато недолгой. Чтобы не попасть к дежурному по училищу и не потерять все, пришлось пожертвовать одной буханкой. Вторую мы предусмотрительно припрятали в снегу возле забора, а с последней под полой у Юрки, едва преодолевая страх, открыли двери казармы.

Нам решительно не везло в тот день, и мы окончательно поняли это, как только переступили порог и увидели между нар на проходе нашего старшину Шквару. Двое дневальных начинали мыть пол, а старшина, по-наполеоновски скрестив на груди руки, холодным взглядом всевидящих очей глядел на нас. «Где были? Отвечайте! Молчать, когда разговариваете со старшиной! Я вас спрашиваю, где были? Молчать! На губу захотели?..» И вдруг старшина сменил гнев на ехидную милость: «А ну, а ну, что это у вас? А ну?..»

Так безвозвратно погибла наша вторая честно заработанная буханка, вместо которой старшина тут же наградил нас четырьмя нарядами (мало в тот день нам пришлось потрудиться!). Сняв шинели и почти глотая слезы, мы принялись драить пол.

Мы проклинали тогда старшину, ледяную воду, которую надо было таскать в ведрах от самой столовки, проклинали заведующего складом, доведшего нас до стольких мучений, и все на свете. Единственным нашим утешением была третья буханочка, которая ждала нас под забором.

Но ту буханку, ту последнюю надежду голодных, раньше нас отыскивали собаки.

Когда мы, далеко за полночь справившись с полами, увидели возле забора примятый собачьими лапами снег с красными, как кровь, крошками хлеба, то на минуту онемели. Я готов был взбеситься. Юрка, видно, первый раз в жизни выругался и в отчаянии опустил на снег. Я хотел кого-то убить. Мы едва добрались до нар...

Правда, наутро, позавтракав, уже гораздо меньше переживали все это, а еще через

неделю даже рассказали ребятам про наш злополучный заработок. И хлопцы надрывались от смеха. Да и мы тоже.

...В хате густой – не продохнуть – смрад. Кто-то бормочет во сне, кто-то стонет. В двух местах слышится храп. На припечке догорает последняя «катушка». Немец на кровати тоже утих и, навалившись на колени, спит сидя. На стене за ним зловеще чернеет его косая и широкая тень. Дремлет у порога санитар. Один только сержант возится в изголовье, поудобнее устраивая ногу и кутаясь в десантную куртку. Потом он собирается закурить и достает из кармана свой мефистофельский мундштук.

В который раз я поправляю на полу изболевшую ногу.

Сержант поднимает голову:

– Болит?

– Болит, зараза!

– Моя тоже. Днем еще терпимо, а ночью жжет, не уснуть.

– Наверно, ночью все раны сильнее болят.

– Ну, а ты думал, – соглашается сержант и после паузы сообщает: – Слушай, младшой, а твой немец, кажись, ничего.

– Кто его знает? Может, и ничего.

– Понимаешь... – Сержант сосредоточенно прикуривает от зажигалки. – Понимаешь, я было хотел его шпокнуть. Поначалу. Зол я на них, есть причина. Да гляжу – какой-то уж очень он не такой, этот Фриц. Учитель. Двое детей. Хотя бы уж буржуй какой-нибудь. Или эсэсовец.

Я молчу. Я понимаю его злобу на немцев. Только вот думаю: очень уж легки стали у нас на суд и расправу. Ни тебе начальства, ни трибунала, так просто, за здорово живешь – шпокну! Какое самоуправство! А может, он нужен где-нибудь в штабе? Впрочем, видно, виноват и я – пленных надо доводить до места, а не отираться с ними по санитарным частям, где раненые нервные, злые. Но это уже другой разговор.

– Понимаешь, третий раз не везет, – выдыхая дым, тихо говорит сержант. – Все не могу. Или, может, тухтяй такой стал. Первый тяжелораненый попался, подняться не мог. Взял его винтовку, думаю, сейчас я тебя доконаю. Загнал патрон в патронник, а он так глянул на меня и говорит: «Данке, рус! Найн Сибир!» Ах ты, думаю, гад, Сибири боишься. Тогда живи, отдавай Сибири! Не стал стрелять. Другого под Золачевом схватили. В разведке. Хотел пырнуть финкой, да не смог – молодой такой, пацан пацаном. Как наш Маковчик. Был такой в роте. Худенький, тонкий и кашляет. Ну, отвел в штаб, черт с ним, думаю. Попадется же в конце концов эсэсовец, тогда расквитаюсь.

Сержант, кряхтя, удобнее прилаживается на койке и прислушивается к грохоту какой-то машины за окном.

– Завтра эвакуируют. На месяца два теперь отдых... Перевязки. Сестра – утку! Паскудство одно. Не люблю! – отрезает он и затягивается из трофейного мундштука. Потом хмурится. – А Маковчика через неделю осколком в позвоночник. Эх! Разрази тебя в тысячу трахтарарах!..

Он остервенело ругается пятиэтажным матом и злобно плюет в порог. Рядом поднимает голову Катя, и я удивляюсь: оказывается, она не спит – печально сидит, опершись на коленки, словно обособившаяся от всего и всех в этой хате. В ее невеселых глазах слезы. Я почти пугаюсь:

– Вы что?

Она даже не повернет головы.

– А тебе что за дело?

– Да я так. Думал...

– Отстань.

Можно и отстать, коли нет желания ответить. В самом деле, чего мне набиваться с сочувствием, как будто мне мало своих забот и своей боли? К тому же усталость берет свое, и меня снова начинает одолевать сон. До утра, видно, еще далеко...

Глава пятнадцатая

Чем ближе к вокзалу, тем все больше людей. На стоянке такси – большущая очередь, которой лихо распоряжается дежурный с красной повязкой. Запоздалые пассажиры спешат на пригородный поезд. С флегматичной неторопливостью, убивая время, по тротуару проходит комендантский патруль – двое солдат и майор. В петлицах технические эмблемы, майору на вид лет сорок пять. Да, постарел офицерский корпус, думаю я, не то что в войну. Когда-то у нас в полку самый старший офицер – начальник артвооружения – имел тридцать восемь. Командиру полка было тридцать два. Батальонами командовали двадцатипяти – двадцативосьмилетние хлопцы. Впрочем, нам, взводным, они в то время казались почти пожилыми.

Вокзальный вестибюль гудит от народа. Суета, толчея и гомон. Слышен и плач. Действительно, у выхода на перрон плачет женщина, только ничего не видно – толпа любопытных отгораживает ее плотной стеной. Наверно, что-то случилось.

Задетый любопытством, я поднимаюсь по ступенькам на второй этаж и останавливаюсь возле перил. Отсюда уже можно кое-что разглядеть. Однако сцена кажется не совсем обычной, по крайней мере для нашего времени. На шее у растерянного мужчины с почти уже седой головой виснет женщина. Косынка ее сбилась на плечи, волосы растрепались. Навзрыд плача, она приговаривает что-то невнятное. Прощается, что ли? Но куда же он уезжает? Мужчина с тоской во взгляде сдержанно утешает ее, гладит по плечу рукой. Кажется, там есть и близкие им люди. Два вполне взрослых парня – в пестрой тенниске и в вельветовой куртке – тоже пытаются успокоить женщину:

– Мама, ну хватит!

– Ну что ты? Люди смотрят. Кончай!

– Ну и пусть смотрят! – закидывает голову женщина. На ее покрасневшем, залитом слезами лице – боль и отчаяние. – Пусть глядят на мое горюшко! Родной ты мой Колюшка, зачем же я тебя спознала?! – причитает она совсем уж по-бабьи и снова припадает к груди смущенного человека.

Непривычное и странное какое-то прощание. Будто в сорок первом. Я недоуменно схожу по ступенькам. В вестибюле появляется дежурный по вокзалу:

– Граждане пассажиры! Прошу разойтись! Прошу разойтись, не нарушать правил! Граждане пассажиры!..

Но пассажиры его не слушают – их продолжает волновать этот отчаянный крик человеческой души. Только никто еще ничего не знает, и каждый старается заглянуть в середину толпы.

Однако через минуту плач притихает, и женщина с седовласым мужчиной направляется к выходу. За ними, неся чемодан, идут двое парней. Люди неохотно расступаются. Женщина все еще всхлипывает.

Из толпы вылезает тетка с корзинкой, ставит ее на пол и начинает перевязывать на голове платок. Ее быстро окружает вокзальный люд, которому не терпится что-то узнать. На лице тетки почти что испуг.

– Ой, бабоньки! Эту женщину ейный муж отыскал. С войны растеряли один другого. Теперича это он приехал. Да ведь с ним новая женка. Вон, в зеленой кофте, – шепотом сообщает она, оглядываясь на выход.

Еще мало что понимая, все сразу поворачивают лица на середину. Действительно, прислонившись плечом к мраморной колонне, стоит, сведя брови, женщина. Ни на кого не обращая внимания, она в растерянной задумчивости смотрит на пол. Потом, словно вдруг что-то поняв, круто поворачивается и решительно выходит в другую дверь – на перрон.

– Ой, бабоньки! Как же это? – спрашивает какая-то молодуха, видно, первой осознав весь драматизм этой необычной ситуации.

Однако все ясно. Я больше не хочу видеть такое. Это дико и страшно. Это выворачивает наизнанку душу. Не хватит ли, проклятое чудовище – война! Или тебе мало того, что ты натворила на земле двадцать лет назад? Зачем же ты еще и теперь жалишь людей своим ржавым затупленным жалом?

Но я знаю: дьявольским козням ее нет предела. Страдают матери, потерявшие детей. Годами болят у калек оторванные руки и ноги. Притаившись в земле, поджидают своих жертв мины. С опозданием открываются людям неслыханные злодеяния бесноватых вырожденков. На счету истории все увеличивается число невинных, неотмщенных жертв. Где же виновники?!

Конечно, одни в земле. Других судили и прах развеяли по ветру. Третьи готовятся начать все сначала. Но есть и четвертые, которые искренне удивятся, если им предъявить счет за некоторые их давние уже дела.

Держась за искромсанные перила, я поднимаюсь на второй этаж. Вдобавок ко всему с каждым годом сдает мое сердце. Одышка заставляет останавливаться и хватать ртом воздух. Вот тебе и молодой человек! Впрочем, я знаю: вылечив легкие, я «посадил» сердце. Проклятый тришкин кафтан. Рваные ошметки вместо здоровья.

Я раздражен и зол. Бывают такие минуты. Возле буфета, в зале транзитных пассажиров, – очередь. Длинный ряд людей вдоль прилавка до самой двери. Хотелось бы выпить чашку кофе и кое-что съесть. Только придется долго стоять. Однако куда мне спешить!

– Кто последний?

– Я.

Короткий, словно блеск, взгляд. Миловидное юное личико под бронзовой копной волос. Мгновенно вспыхивает и гаснет любопытство в широких глазах. Конечно, чем тут интересоваться? Худой, с залысинами на лбу дядька, увядшее, потрепанное жизнью лицо. К тому же хромой. Но, черт возьми, все-таки я хотел бы ей чем-то понравиться. Только зачем? Опять же я понимаю, что это невозможно. И удивляюсь своему желанию.

Нет, видно, об этом надо забыть. Мое отошло, отгремело.

Рядом, высматривая кого-то в очереди, ходят двадцатилетние парни. Ничего не скажешь – симпатичные ребята. Спортивная осанка, свежие воротнички отглаженных белых рубашек. Какие невежды когда-то с таким усердием ополчались против узких штанов! Ведь это красиво. А для молодежи красота, может быть, главное. По крайней мере, лет в двадцать. У нас, правда, все было иначе. Мы носили неуклюжие шаровары хабе и кирзачи. Они мало благоприятствовали любви, хотя и не в состоянии были подавить наши чувства. Помню, когда мы с ней где-либо садились рядом, ноги у нас были одинаковые, не отличишь. Разве что ее сапоги – немножко меньше размером. И такие же одинаковые шинелки – жесткие, тяжелые в мокрядь и жару и холодные в стужу. И лицо было мало ухожено. Однажды мы лежали под обстрелом в борозде, и взрывом ее всю залепило грязью, попало в лицо и в глаза. Она умывалась слезами и ничего не видела. И надо было бежать. Тогда я схватил ее за

руку. Бойцы в залегшей цепи удивлялись: чего это они бегут, взявшись за руки, словно на прогулке?

Та прогулка под минными взрывами сделала свое дело. И без того к немалым заботам прибавилась новая. Я подкарауливал ее где только мог. При каждом удобном случае норовил сбегать в батальон, имел несколько неприятностей с ротным. Я собирался ей что-то сказать. Самое важное и самое мое первое слово. Только я опоздал. Смерть опередила меня. В большом приднепровском селе над плавнями остался свежий гравийный холмик, который отделил ее от живых. Все остальное, что случилось со мной потом, было не то и не такое. Да и сам я стал другим...

Однако очередь почему-то расходитя. Кончились пирожки. Мило хмыкнув вздернутым носиком, уходит и моя девчушка. Оставшиеся в ряду продвигаются, и я оказываюсь у самого прилавка. Кофе еще есть, и то неплохо. После водки донимает жажда.

И вдруг я вижу его.

Какое-то время, словно окаменев, я молча гляжу в его нахмуренное лицо. Он отходит от очереди и останавливается. Потом снова возвращается к стойке и что-то рассматривает под стеклом. Бряцает мелочью в горсти. Вид у него молчаливо-озабоченный. Сахно! Ей-богу, Сахно. Да, теперь или никогда! Я буду размазней, если упущу его. Нет, бить я не буду. Зачем бить? Я скажу ему, что он гад. И предатель. Изменник родины! Скажу прямо в глаза. Пусть тогда бьет он. Будет скандал, прибежит милиция, и я объясню, почему я так поступил. Пусть тогда меня судят.

Я выхожу из очереди и делаю два шага вперед. Сердце мое тут же срывается в галоп. Однако держись, сердце! Не подведи!

Но тут кто-то подходит к прилавку и становится между нами. Я прикусываю губу – он мне мешает. Вдруг Сахно поворачивается, и его брови вздрагивают. Узнал, гад! Но глаза тут же становятся спокойными. Он сует в пальто руку и звонко сыпает мелочь в карман. Потом спрашивает:

– Не удалось?

– Что?

– А в гостинице?

– Нет, не удалось, – говорю я не своим голосом и, будто загипнотизированный, гляжу в его выцветшие, малоподвижные глаза.

– Проклятый город, поесть не добьешься. Вы ужинали?

– Нет.

– Может, пройдем в ресторан? Тут напротив.

Поникший, я стою, как дурак, как идиот. По-видимому, он и считает меня идиотом. Но я снова не знаю, что делать. Я не узнаю его. Сахно и не Сахно.

– Ну? Составите компанию?

Он идет меж людей к двери, и я растерянно иду за ним. Первый, самый удобный момент упущен, Теперь я уже не могу отважиться, меня колеблют сомнения. Может, потребовать у него документы или спросить фамилию? Однако это не может тянуться долго. Так я не выдержу.

Мы выходим из зала ожидания. Он доверительно оборачивается ко мне:

– Бордель, а не город. У нас стоит позвонить в коммунхоз, и гостиница обеспечена. А тут не могут забронировать одно место. Республика, называется.

Сволочь! Что ты знаешь про эту республику? Не досталось места в гостинице?

Кончились пирожки? А про полумиллионную армию партизан в этой республике ты слышал? Про девять тысяч белорусских орадунов и лидице ты знаешь? Про два с лишним миллиона жертв? Про то, что и до сих пор эта республика не достигла довоенного числа жителей?

Я едва сдерживаю нервную дрожь внутри. А он раздевается в гардеробе. Перед зеркалом старательно расчесывает на затылке остатки своей шевелюры. Потом мы заходим в зал. Тут также битком народу. Свободных столов нет, и мы медленно идем между рядами. Но вот у окна вылезают из-за стола четверо офицеров. Мы сразу занимаем их места. На скатерти гора неубранной посуды. Он брезгливо отодвигает от себя тарелки.

Разговаривать со мной у него, видно, пропало желание. Но и мне не до разговоров. Меня изводит вопрос: он или не он? В голове начинается пронзительный звон, руки заметно дрожат. Он же, очевидно, не узнает. Что ж, тем лучше! Я напрягаюсь, как перед рывком в атаку, и спрашиваю его в упор:

– Вы – Сахно?

– Что? Нет, не Сахно.

Не Сахно! Другой возможности узнать, кто он, у меня пока нет. Я напряженно стараюсь сообразить, как поступить дальше. Он забрасывает ногу за ногу и откидывается на спинку стула. Достает из кармана газеты. Кажется, он совершенно спокоен, целиком поглощен собою. Ни одна жилка на его лице не дрогнет. Шурша газетой, бросает на меня взгляд:

– А почему вы спросили? На кого-то похож? Да?

– Похож.

– Бывает, – вздыхает он и оживает. – Я в Ростове одного инженера год путал с бухгалтером управления. Похожи как две капли воды.

Черт! Кажется, я влип! Неужели действительно не он? А может, притворяется? Что-то чувствует и боится? Пожалуй, кое-что из своего прошлого скрыл.

Однако нет. Держит себя без притворства, уверенно. Широко разворачивает «Правду», «Труд» протягивает мне:

– Почитайте. Пока тут дождешься...

И, не договорив, погружается в чтение. Я машинально просматриваю заголовки и ничего не понимаю.

Если не Сахно, то это ужасно. Я же мог его опозорить. А если, несмотря ни на что, все же он? Неужели я и теперь останусь в дураках, как и двадцать лет назад?

Что ж, подождем.

Он читает сосредоточенно, всерьез. К нам больше никто не садится. Официантка тоже не идет. Я невидящим взглядом смотрю на петитные строчки газеты и не могу заглушить в себе почти отчаянного крика памяти...

Глава шестнадцатая

Сон мой прерывается взрывом:

Тр-р-рах!.. Лоп-лоп-лоп... Ши-ш-ш-р-р-ш-ш-ш...

И еще:

Тр-р-рах! Тр-р-рах!.. Шр-рик!

Что это? Где? Фу ты, сыпануло чем-то за шиворот. На спине – будто муравьи или, может, песок. Я вскакиваю и сразу понимаю: беда!

В хате почти светло, за окнами – раннее рассветное утро. Меня обдает холодом, снежная пыль сыплется на лицо, голову, за воротник. На полу удивленные лица людей. Возле кровати, обхватив голову, согнулся, выжидая чего-то, сержант. С потолка осыпается перемешанная со снегом штукатурка.

Тр-р-рах! – кажется, под самым окном гремит новый взрыв. В окно врывается туча снега с землей. Мелкие осколки стекла, дробью осыпая раненых, оседают в складках шинелей. Невольно отшатнувшись от взрыва, я окончательно лишаюсь сонливого замешательства и пугаюсь – где Юрка?

Но Юрка рядом, он также недоуменно моргает заспанными глазами и спрашивает:

– Что такое? А? Бомбежка, а?

Нет, Юрка, не бомбежка и даже не обычный огневой налет. Это другое. Я боюсь его, этого «другого», от одной только мысли о нем у меня холодеет в груди. Тр-р-рах! Тр-р-рах! – рвутся снаряды дальше, в огородах. Там кто-то яростно матерится – слышны испуганные выкрики, топот бегущих ног. Что-то там происходит неладное. А я с душевной дрожью вслушиваюсь в эту сумятицу звуков и – пропади оно пропадом, это вчерашнее мое предчувствие – оно оправдывается. В промежутках между разрывами откуда-то издалека доносится тяжелый прерывистый гул танков.

Ну вот и дождались! Доспались, доотдыхались, донадеялись, черт возьми! Теперь расхлебывай!

Наверно, другие также что-то уже слышат. Сержант, за ним Катя и Юрка бросаются к вдребезги разбитым взрывами окнам. Вскрываю на одной ноге и я. Еще кто-то припадает к окну. Вот так картина! Самая противная и страшная изо всех картин на войне – драп.

По улицам, по огородам, мимо нашей хаты и дальше одиночками и группами бегут из села люди. Бешено несутся кони, разбрасывая скатами снег, по одной мчатся машины. Видно, все, кто тут был, ринулись за околицу, мимо разбитых осколками мазанок, перепрыгивая через плетни, падая и вскакивая. Неподалеку на улице пылает разнесенный взрывом «студебеккер». Возле опрокинутой повозки, издыхая, бьется головой о дорогу конь. Тр-р-рах! Тр-р-рах! Пи-и-иу... Пи-у-у-у... Тр-р-рах! Там и тут рвутся снаряды. Но мы уже не обращаем внимания на них – мы всматриваемся вдаль, за село.

По отлогому склону из степи ползут в село танки.

Жвик-жвик-жвик! Тр-р-рах!

Взрыв отбрасывает нас на пол. Хата приподнимается и оседает. Кажется, рушится потолок. Сухим пыльным смрадом забивает дыхание. Кто-то стонет, кто-то ругается и, вскочив, бросается к двери.

– Ложись! Ложись, черт вас побери! – кричит в этом пыльном хаосе Катя. Она по-мужски ругается, но теперь это никого не удивляет – да и как же иначе, если такое творится

кругом.

Штукатурка со стен и потолка густо запорашивает головы и спины. Юрка поднимает лицо, его не узнать – один только, полный тревоги и недоумения, взгляд: что делать?

– Сестра! Сестричка! Ой, спаси же!.. Ой! – кричит кто-то в хате.

Пыль быстро выдувает ветром, не ветром – настоящим вихрем, ибо уже ни окон, ни дверей нет. Дверь, очевидно, раскрыта, и на пороге распласталась неподвижная фигура. Это наш санитар, что вчера на том самом месте бросал кроликов. Над углом, в потолке, пролом с дыркой наружу. В ней курится снег и под ним, внизу, на соломе, слепо мечется обвязанный бинтами летчик. Коленями и локтями он толкает, тормошит соседа:

– Эй, товарищ! Товарищ!

Из-под шинели торчат длинные ноги в кирзаках, они не двигаются. Кажется, его сосед, который вчера бросался на немца, – «уже». Но попало в хате, видно, не только ему одному.

– Сестра! Сестрица! – причитает кто-то в другом углу (не тот ли рябой). – Кровь... Второй раз гвозданули, гады!!!

– Что же это творится, братцы? Надо же что-то делать!

– Тихо! Тихо! Ложись! – командует Катя и с треском разрывает очередной перевязочный пакет. Она, с распущенными волосами, без шапки, мечется по хате то к порогу, то к углу, где не унимается обезумевший незрячий летчик:

– Где сестра? Сестра!!!

Катя склоняется над обгоревшим и, безразличная уже к соседу, уговаривает его:

– Ладно, ладно. Все будет хорошо. Ты ляг! Лежи! Все будет хорошо...

Ее удивительно ровный, сочувственный голос на минуту кое-как успокаивает бойцов. Обожженный нерешительно умолкает. Катя, переступая через людей, подается в другой угол, к перегородке. Там тоже кто-то надрываясь стонет.

Возле печки поднимается с полу последний наш санитар – маленький напуганный пожилой человек, и Катя кричит ему:

– Ты! Бегом к начальству! Ну, живо! Повозки живо!

Санитар, пригнувшись, трусливо перелезает через труп напарника на пороге и исчезает в сенях. За окном с грохотом мчится подвода. Задворками бегут люди. Трещат разрозненные автоматные очереди.

– Счас, родненькие! Счас! Все будет хорошо. Все хорошо, – приговаривает Катя.

Я поглядываю на Юрку, он лежит на боку рядом и кусает губы. В глазах моего друга предельная напряженность. Наверно, в моем взгляде он улавливает немой вопрос и пытается успокоить дружеским пожатием руки:

– Ладно. Подожди. Подожди чуток.

Ждать, конечно, не самое лучшее – скорее, худшее. Как раз ждать теперь и нельзя. Каждая минута промедления, видно, вскоре будет нам стоить многого. Но что делать? Попали из огня да в полымя! Называется, покимарили ночь – все прокимарили. Запоздалое сожаление о вчерашнем; боль, досада и страх овладевают моими чувствами. Хочется немедленно что-то предпринять, кого-то обвинить. Только кто тут виноват? Разве что я сам. Надо же было вчера так успокоиться, забыться в этой тишине, отдаться радости встречи с Юркой, махнуть рукой на танки в степи – и вот теперь получай. Понадеялись, называется, на предусмотрительность и заботу других.

Скорчившись на соломе, я вслушиваюсь в канонаду на улице. Рядом – также весь в слухе – Юрка. Взрывы прижали нас к полу, и мы живем болезненно напряженным слухом. Во

дворе топот ног, стоны, короткие выкрики. Вдруг слух улавливает прерывистое дыхание. Я оборачиваюсь – в окне потное, встревоженное лицо.

– Эй, славяне, где тут сестра?

– А что, повозка? Ага? Давай сюда!

С пола неуклюже вскакивает сержант и хватается за подоконник. Но лицо там исчезает. Коротенькая надежда вспыхивает в сознании – а вдруг за нами? Хотя для одной подводы нас многовато. И тут я впервые за это утро встречаю забытый уже печально-терпеливый взгляд. Это из-под койки, где лежит «мой» немец. Как гость на чужой беде, он забился туда и ждет. Только чего ждет?

Пули и осколки прошивают крышу. Ветром заносит в хату соломенную труху со снегом. Мы вбираем головы – видно, они все же нас доконают. В сенях слышится топот. Сквозь раскрытую дверь, переступив через санитаря, вваливается боец в телогрейке. За ним второй с винтовкой за спиной – они втаскивают кого-то в шинели и опускают возле печи.

– Сестра! Где сестра?

Катя, торопливо забинтовав чье-то окровавленное плечо, по солдатским телам лезет к порогу.

– А что вы мне его принесли? – через минуту кричит девушка. – Я не похоронная команда. А ну тащите назад!

На потном лице бойца – удивление, почти что испуг.

– Как это назад? – тихо спрашивает он.

– А так. Не знаете как? – бросает она и спешит в угол к почти обезумевшему летчику.

– Ляг! Ляг! Ну что ты – ляг! – уговаривает его Катя.

Боец растерянно стоит возле печи. Мне хорошо видны отчаяние, удивление и испуг, что одновременно отражаются на его заросшем щетиной лице. С минуту он недоуменно вглядывается в труп на полу, потом поднимает рукавицу, чтобы вытереть пот. И тут: тр-р-рах!

Это близко, но все же не так, как в предыдущие разы. На Юркину шинель отскакивает гниловатая щепка от подоконника, а боец с рукавицей, вытирая спиной побелку, быстро сползает на пол. Я еще не успеваю сообразить, что произошло, как он, обмякнув, падает на бок, глухо ударившись головой об пол. Из рта его хлещет кровь. Его напарник бросается в сени.

На полу матерится сержант:

– Где санитар? Где начальство?..

Хватаясь за койку, он неуклюже встает и, неся впереди прямую, как бревно, ногу, поворачивается ко мне:

– Ты, дай автомат! Я им наведу порядок!..

Это так уверенно и категорично, что я сразу, не подумав, отдаю ему свой ППС. Сержант торопливо скачет к двери. Катя кричит из угла:

– Подводы! Подводы давай сюда! Слышишь?!

– Не глухой! – долетает уже из сеней.

Мы снова ждем, припав к заброшенному штукатуркой полу. В селе бой. Вовсю гремят танки, бьют их пушки, неистово заливаются пулеметы. Однако что-то там застопорилось – все же, видать, опомнились славяне, зацепились на той окраине и оказывают сопротивление. Только надолго ли?

Юрка, должно быть, обеспокоен тем же и, привстав, выглядывает из-за косяка. Я гляжу

на него снизу, но на лице друга ни капельки облегчения. Пожалуй, на этот раз беда обрушилась на нас со всей ее неотвратимостью.

Вскоре Юрка опускается на солому.

– Ты идти не можешь?

Я шевелю раненой ступней. Болит, холера, как тут идти? Юрка понимает без слов.

– Так. Значит, так. Я... Надо туда, – он кивает головой за окно. – Там мало народу.

Все ясно. Придется драться. Оказывается, война для нас еще не окончилась, передышки не будет (глупые, наивные мечты). Борьба продолжается, и надо идти в бой. Легко здоровым – вон сколько их дало волю ногам! У нас же выбор небольшой: плен или смерть. Ну что ж!.. Только вот рана...

Юрка тем временем сдвигает наперед кирзовую кобуру, левой рукой достает «ТТ». Магазин у него неполный. Одной рукой он шарит в карманах, достает несколько патронов, неловко запихивает их в магазин. Я также выгребая из своих карманов остатки боеприпаса. Набирается десяток автоматных патронов, и я отдаю их Юрке. Тот решительно поднимается на ноги:

– Ну, держись!

Он пытается улыбнуться одними губами, и в этой его улыбке – проблеск надежды, в которую он и сам слабо верит. Значит, снова расставание, снова он уходит, и, наверное, уже навсегда. Ну конечно, вряд ли он вернется оттуда. Тогда и я не хочу быть тут – умирать, так вместе. Я вскакиваю в хмельном порыве – была не была! Так или не так – додумывать теперь некогда.

– Дай руку.

Он недоуменно смотрит на меня, секунду медлит и нерешительно подает здоровую руку. Я встаю и, придерживаясь за койку, прыгаю к порогу. Черт, на одной ноге все-таки неудобно. Если бы на что-нибудь опереться. Я приостанавливаюсь, Юрка впереди, поняв мои заботы, оглядывается. В углу, у порога, стоит чья-то винтовка, он хватает ее и сует мне. Это обыкновенный немецкий карабин с черной ложей, и я опираюсь на него, как на палку.

Уже с большей уверенностью мы перелезаем через троих убитых и выбираемся на закиданный комьями земли двор.

Глава семнадцатая

Во дворе нас сразу оглушает взрыв, мы оба падаем, потом Юрка, вскочив, перебегает за угол какого-то сарайчика. Там он оглядывается, намереваясь бежать дальше, но я в этом деле ему не ровня. И он, присев за углом, терпеливо поджидает меня. Я прыгаю на одной ноге и шарю вокруг глазами – авось где увижу гранату. Нужны гранаты. С винтовкой да пистолетом мы не долго навоюем против танков. От сарайчика Юрка подбегает к полуповаленному взрывом плетню и опять приседает. За плетнем на снегу серое пятно воронки, дальше забросанный грудями земли огород.

Пи-у-у-у!.. Пи-у-у-у!.. Пи-у-у-у-у-у...

Эге, да тут не одни танки – тут еще и мины! Три громовых взрыва сотрясают поблизости землю. Меж хат взлетает в небо сизое снежное облако. Юрка хочет перескочить через плетень, но оборачивается и опять приседает. Доковыляв до него, я опускаюсь на колени, пережидая длинный пронзительный визг мин. Бьют с околицы навесными крутыми траекториями. Мины летят долго и своим визгом, кажется, переворачивают все внутри. Сколько я на фронте, а все никак не могу привыкнуть к этому их проклятому визгу. Я гляжу на Юрку – мне еще не приходилось видеть его под огнем. Э, да он молодчина: собранный, сосредоточенный, быстрый. Он бы, конечно, одним махом перескочил этот огород и уже был бы там. Вот только я...

– Если тут не сдержим – в поле хана! – кричит Юрка сквозь скрежет, который в это время достигает наибольшей силы и вот-вот оборвется взрывами.

В такой момент не до разговоров, и я мысленно соглашаюсь: в поле, конечно, гибель.

Тр-р-рах! Тр-р-рах! Тр-р-рах! – сзади и с боков рвут мерзлую землю взрывы. Мы распластываемся под плетнем. Большие комки земли бьют по спинам, головам, ногам, потом на снег падают куски поменьше, а земляная мелочь еще долго будет сыпаться с неба. После третьего взрыва Юрка оглядывается:

– Ты, если что... Адрес не забыл?

– Ну что ты!

Адрес я помню: Ачинск, Набережный переулок. Там живет Юркина мать – бухгалтер детского сада. О себе я молчу. Мой адрес теперь не понадобится – он по ту сторону, под немцем.

– Ну, давай первый! – легонько толкает меня в плечо Юрка.

Ясное дело, он не хочет отрываться, терять меня, одноногого, из своего поля зрения и дает мне эту поблажку. Чтоб не отстал.

Опираясь на карабин, я перелезаю через полуповаленный плетень, раз-другой наступаю на забинтованную пятую. Болит, но надо держаться, иначе мне не пройти. На одной ноге далеко не уйдешь. Юрка, пригнувшись, бежит в трех шагах рядом. Порывистый ветер низко стелет черные космы дыма от «студебеккера» с улицы, временами накрывал им середину огорода, которая от копоти будто посыпана золой. Мы бросаемся туда, в этот дым, и тут снова: пи-у-у-у... пи-у-у-у...

– Ни черта они нам не сделают! – кричит Юрка. – А ну, давай быстрее!

Он резко вырывается вперед. Нас окутывает дым. Рядом рвутся мины. В воздух взмываются клубы дыма. На несколько секунд я перестаю видеть и, пригнувшись, устремляюсь вперед, в сумеречную зловонную полосу дыма. Глаза заливают слезы, я едва не

налетаю на обрушенную глинобитную стену. Взрыв! Падаю, отчетливо чувствуя, как осколок с лета пропарывает полу моей шинели. Но ноги, кажется, уцелели – это главное. Под стеной протираю запорошенные глаза и оглядываюсь.

Юрки нет.

Сначала ни испуга, ни сожаления, одно лишь недоумение – он же только что был рядом. Затем внезапная тревога заставляет меня вскочить. Сизое облако от мины рассеивается, ветер понемногу относит дым в сторону, и тогда я вижу на снегу Юрку. Он лежит ничком, широко разметав руки, и не двигается.

Минутный испуг во мне сменяется страхом. Не оберегая больше раненую ногу, я кидаюсь назад и через несколько шагов распластываюсь возле Юрки. Я переворачиваю его на бок. Подстриженная под бокс светловолосая голова его беспомощно запрокидывается на снег. Шапки на ней нет. Полузакрытые веки быстро-быстро синеют, и глаза совсем закрываются.

– Юрка! Юрка! – кричу я, бессмысленно ощупывая его тело, так как не вижу раны и не могу понять, куда ему попало. Все во мне дико протестует против этой самой большой беды: нет, нет, он выживет! Возникает надежда, что его только оглушило, контузило.

Но он, видно, не слышит меня, зубы его почему-то судорожно стискиваются, и, не разнимая их, он тихо, на выдохе, говорит:

– Черт... Не удалось...

И затем только хрипит. На губах появляется кровавая пена, он захлебывается ею. Тело его напрягается в моих руках, будто пытаюсь повернуться на другой бок. Я пугаюсь, чувствуя, что он кончается, но я бессилён что-либо сделать.

– Юрка! Юрочка, куда тебя? Что тебе?.. – глупо кричу я, все ощупывая его, и только теперь ощущаю на руках кровь. Да, кровь на шинели и на снегу под ним.

Жвик-жвик-жвик! – проносится близкая очередь и тут же: тр-р-рах!

Нас снова накрывает взрывом. Возле моего локтя, зашипев, вонзается в снег горячий осколок. Рыжее глиняное облако стелется по огороду. Это угодили в мазанку, от которой я отбежал сюда. В сознании вспыхивает секундная радость – пронесло! Но только меня, а не его. Его не миновало, и в этом мое несчастье и, пожалуй, моя гибель. Я чувствую, что немцы приближаются, бой с окраины перемещается в центр села. Они взяли нас в огневые клещи, которые сжимаются все теснее. Кругом уже никого не видно, и я не знаю, как спасти Юрку. Но рядом на прежнем месте еще стоит хата, из которой мы только что выскочили. Ой, не вовремя выскочили, с запоздалым сожалением думаю я.

Я закидываю за спину карабин, хватаю Юрку под мышки и тут же падаю вместе с ним в снег. Поднять я его не смогу. Тогда я вцепляюсь в его портупую и, низко склонившись, волоком тащу его к поваленному плетню, назад в хату.

Вжик-вжик-вжик-вжик! Фить-фить!

Это очереди. Они в клочья разносят соломенные крыши, дырявят глиняные стены мазанок. В паузах между разрывами прорывается угрожающе близкий стрекот и лязг гусениц – танки уже на улице.

Задыхаясь, весь в холодном поту, я затаскиваю отяжелевшее Юркино тело в сени. Как и прежде, дверь в хату распахнута. На полу кто-то из раненых. Из угла на меня удивленно оглядывается Катя.

– Э, помогите! – кричу я, так как уже не в состоянии перетащить Юрку через порог.

К тому же я боюсь, что будет поздно. Я злой и жду, что они все кинутся ко мне.

Но кидаться тут некому – людей стало мало. Раненые, наверно, не дожидаясь худшего, разбрелись кто куда. Я вижу только Катю, которая хлопчет возле обгоревшего, и все те же трупы у порога. Да еще немец! Действительно, какой-то несуразный фриц! Он не сбежал и, увидев Юрку, удивляется:

– О, майн гот! Юнг офицер!

– Майн гот тебе! – от злобы нелепо кричу я и обращаюсь к Кате: – Сестра! Спасай! Быстрее!

Только Катю торопить не надо. Она уже рядом и быстро расстегивает на Юрке ремень, портупею, шинель. Задыхаясь от изнеможения, я падаю на пол.

– Танки... Танки уже там!..

Катя бросает на меня жесткий ненавидящий взгляд, будто я виноват во всей этой беде.

– Где сержант? Где та сволота? Ты не видел?

Я отрицательно качаю головой. Катя приходит в ярость:

– Сбежал, зараза! Болтун, трепло! Расстреливать таких гадов! Подлец! Теперь погибай из-за него!

До этого недалеко. Дела наши – хуже некуда. Однако расстреливать некого, да и вряд ли этим поможешь. И все же напрасно я отдал автомат. Чем теперь будем отбиваться? Разве что одним карабином. Ну и ну!

Несколько пуль с улицы бьет по стенам. Одна через окно откалывает кусок угла от печи. Нас осыпает глиной. Катя склоняется над Юркой, покрикивает на немца – теперь тот помогает. Я приподнимаю голову Юрки – на висках у него сильно вздуваются вены, он еще жив.

– И на кой черт я с вами связалась! Мало мне в батальоне было! – зло говорит Катя.

– Быстрее! Быстрее, Катя! Он же задыхается... – раздраженно прошу я.

– погоди ты! А, вот оно что... – говорит Катя.

Она возится под верхней завернутой одеждой Юрки. Там все окровавлено, я не могу смотреть. Сколько я уже видел их – окровавленных – живых и мертвых, своих и немцев, и ничего – смотрел. А тут не могу: это же Юрка.

– Та-ак, – сосредоточенно говорит Катя и, быстро заправив края рубашки поверх гимнастерки, обматывает бинтом грудь.

Я, с трудом сдерживая отчаяние, спрашиваю:

– Он выживет, а? Выживет, Катя?

– А я что – Бог? – кричит в ответ Катя. – Я не Бог тебе.

Она поспешно запикивает в сумку бинты и бросается к окну:

– Где повозки? Где повозки? Где та сволочь болтливая?

Но нет ни сержанта, ни повозок. В этом конце села мы, кажется, остались одни.

Хату сотрясает разрыв. В окно несет пылью и тротильным смрадом. Катя падает, мы все прикиваем к полу. А когда поднимаем головы, видим в двери огромную фигуру в темно-серой незастегнутой куртке с меховым воротником, надетой прямо на нижнюю сорочку. В ее разрезе лохматится волосатая грудь.

– Бинта надо! У кого есть бинт?

Человек одной рукой зажимает на шее рану, из которой меж пальцев в рукав и на куртку течет кровь. В другой руке у него автомат. И тут я удивляюсь – это же мой ППС! Вон и медная проволочка на ремне, которую я приспособил когда-то вместо оборванного тренчика.

Но, прежде чем я успеваю что-то сказать, к человеку подсакивает Катя.

– Где взял? Откуда это? – Она резко дергает его за полу куртки. На лице девушки ярость.

Человек сперва не понимает, хлопает глазами то на Катю, то на свою куртку. И тогда я вдруг догадываюсь, что как автомат, так и куртку он взял у сержанта, которого мы ждем.

– Это? – наконец догадывается человек. – Не украл. У убитого взял.

– Где убитый? – кричит, содрогаясь, Катя.

Человек, тоже раздражаясь, в тон ей отвечает:

– А ты что – прокурор? Вон на дороге лежит. Сходи погляди.

Катя, сразу обвев, уныло опускается на пол. На ее лице – мучительная спазма боли. Не преодолев этой боли, она расслабленными движениями застегивает сумку и упавшим голосом спрашивает:

– Прут танки?

– Прут, сестра. Вам тут не место.

В углу кричит летчик:

– Сейчас же отправляйте нас! Не имеете права. Я к Герою представлен. Я требую...

Катя вскидывает на нас острый, моментально оживший взгляд, в котором уже решение:

– Выносить! Выносить всех! На дорогу! Быстро! Пулей! Живо!

Да, выносить! Но выносить – значит дальше тащить на себе. Только далеко ли утащишь от танков?..

Делать, однако, нечего. Сидя тут, пожалуй, дождемся худшего, и я под мышки поднимаю Юрку. Человек в сержантовой куртке торопливо обматывает бинтом шею и, запихнув за воротник концы, подхватывает Юрку с другого бока. Немец без понуждения услужливо подбегает к Кате. Он уже в чьей-то шинели и похож на красноармейца, только шапка у него немецкая. Вдвоем они берут летчика.

– Огородами, огородами давай! Дорогой не пройдешь, – командует им мой помощник.

Мы выбираемся во двор, обходим разбитый угол хаты, которая давала нам пристанище, и бежим огородами. Сбоку высокий тын с натянутой поверху колючей проволокой. Мы бежим вдоль тына. Только бегун из меня все же плохой. Катя с немцем вырываются далеко вперед. Хорошо еще, что хата прикрывает нас сзади. И все-таки с улицы нас видят немцы. Не успеваем мы отбежать и сотни метров, как длинная очередь врывается в крышу этого строения. Наверху вдребезги разлетается труба, и осколки ее градом сыплются во все стороны. В воздухе летает солома и снег. Мимо наших голов проносятся пули.

– Дают, сволочи! – зло оглядывается боец. – Не война, а расправа. Я было кидался, кидался с тем одноногим. Человек двадцать задержали, да вот напоролись...

Я в каком-то душевном онемении. Мысли перепутались. Запальчивая горячность не позволяет сообразить, как действовать лучше. Я только чувствую, что погибает Юрка, что я не спасу его, не успею. Меня не перестает пугать его хрип. Изо рта у него сочится кровавистая пена, и мне кажется, что он вот-вот задохнется. Я то и дело сдерживаю шаг и неловко подхватываю его за голову, которая откидывается вниз. Юрка то стонет, то вдруг умолкает, и мне тогда кажется: конец! Нога моя околела и сильно болит в мокрых бинтах. Но я безжалостен к ней – я наступаю через боль, которая до бедра распирает ногу. Теперь не до боли! Надо быстрее, иначе смерть всем.

В конце тына мы продираемся через жесткие, как проволока, заросли вишенника на меже. Новая очередь укладывает нас в бурьян. Как только она идет стороной, мой помощник вскакивает и отстраняет меня от Юрки:

– Постой! Давай я!

Длинный, рукастый и, видимо, очень сильный, он одним махом взваливает на спину Юрку. Пригнувшись, широким шагом спешит по снегу. Я оглядываюсь – все танки уже вползли в село. На косогоре по ту сторону пусто. Скоро они будут тут.

– А ну быстрее!

Обеими руками опираясь на карабин, я бегу за человеком. Теперь немного легче. Если бы не нога...

– Вот холера! – говорит он, неуклюже оборачиваясь ко мне под ношей. – Выскочил без гимнастерки. С ней все документы накрылись. И надоумил же дьявол заночевать в крайней хате!

«Заночевали! – механически повторяю я, так как другого ничего и не слышу. Другое не доходит до моего сознания. – Заночевали. И проспали – проворонили все на свете...»

– А вы кто? – спрашиваю я сзади.

– Я? Да старшина из ДОПа. Евсюков. Не слышали разве? – говорит он, широко шагая по снегу.

Кто его знает, может, и слышал. Действительно, в ДОПе – не в батальоне – там даже сержанты известны по всей дивизии. Только теперь я уже не припомню. Теперь это уже неважно. Я отбрасываю в сторону жердь, которая мешает ему, и мы перелезаем в соседний огород. Впереди бегут Катя с немцем.

– Ничего! – успокаивает меня или, может, самого себя старшина. – Сдержат! Должны сдержать! Иначе что же за безобразие такое!

Да, безобразие, несчастье, позор! Ну и село! Ну и утро!

Вдруг мы слышим: Катя с немцем что-то кричат нам, а сами сворачивают меж хат к улице. Я приостанавливаюсь и слухом улавливаю, как где-то невдалеке за хатами дребезжит повозка. В грохоте разрывов мы не сразу услышали ее и, наверно, опоздали. Старшина пускается бегом, я опять отстаю. Вскоре, однако, мы пересекаем забросанный соломой двор и выскакиваем на улицу. По середине ее прямо на нас бешено мчит нагруженная с верхом повозка.

Глава восемнадцатая

– Стой! Стой! – кричу я отчаянно и зло, сознавая, что это – последняя наша возможность спастись. Другой уже не будет.

– Стой! – ревет Евсюков. На мои руки он сваливает Юрку и бросается прямо под коней.

Но пара рыжих, видно, напуганных не меньше людей, пронесится мимо. Из-под копыт в лицо мне летят крошки снега. На подводе целая гора каких-то тряпичных тюков, на которых, как на возу с сеном, – боец. Второй на передке яростно стегаёт коней.

– Стой! Хусаинов, стой!

Старшина после секундной остановки бросается вдогонку. Повозка, свернув на обочину, останавливается. К ней уже бегут Катя с немцем, им ближе. Я волоку под мышку Юрку. Он все еще в забытии и наверно, оттого непомерно тяжелый. Ноги мои вязнут в мягком, будто песок, перетертом колесами снегу – хоть бы успеть! Сзади нас прикрывает поворот у хаты, где мы ночью наскочили на придиричивого капитана. Танки нас здесь не видят.

Тр-рах! Тр-рах! Тив-в... Бах!

Это все еще там – за поворотом, откуда, на наше счастье, выскочила эта повозка. Хорошо, что в ней какой-то знакомый старшины. Но, кажется, мы все в ней не поместимся. Разве положим Юрку. Старшина подбегает к повозке и хватается за веревку, которой перевязан груз.

– Скидай тряпье! Сгружай все! Быстро! – кричит он тому, что на самой макушке воза.

Но тот вроде не спешит разгружаться. Он еще ниже втискивается в тюки и толкает ездового.

– Пашел! Нельзя скидай! Не разрешал!

– Хусаинов, ты что, очумел? Вон раненые! – кричит старшина и срывает с воза веревку.

Два тюка с угла тяжело падают на дорогу. Несколько их скидывает старшина. Боец на повозке вскакивает во весь рост.

– Нельзя! Я отвечал! Я расписка давал!

Он сверху ногой толкает в грудь старшину. Тот хватается за валенок и с силой рвет вниз.

– Дурак! Прочь отсюда!

Хусаинов, неуклюже выгнувшись, падает с воза задом на снег. Старшина в мгновение вскакивает на повозку и начинает отчаянно скидывать все на землю.

– К чертовой матери! А ну помогай! Быстро! – командует он ездовому, который в испуге едва сдерживает коней.

Я волоку Юрку и со все возрастающей надеждой думаю: авось успеем! Успеем. Возле повозки уже Катя с немцем. Они подтаскивают туда обгоревшего и, усадив его на снегу, также начинают кидать с повозки тяжелые тюки. Теперь мне видно, это – телогрейки, должно быть, с какого-то склада ОВС.

Хусаинов тем временем поднимается с дороги. Что-то невнятно прокричав, хватается за карабин, который торчит у него за спиной. Он снимает его через голову и отскакивает на шаг. В тот же момент раздаётся выстрел. Схватившись за руку ниже локтя, старшина на возу приседает и недоуменно выпрямляется. На его пальцах кровь.

– Ах ты, гад! – после секундной растерянности выверивается он на Хусаинова. – Ты так? Так, сволочь?!

– Стойте! Пойдите! Что вы делаете! – кричу я.

К Хусаинову прямо на его винтовку кидается Катя. Но он уклоняется.

– Стрелял вас буду! Убивал буду. Я расписка давал. Приказ бирал! – разъяренно кричит Хусаинов, снова клацая затвором.

Старшина все же опережает его и, дернув рукоятку автомата, прямо с груди бьет короткой, в три пули, очередью. Хусаинов взмахивает рукой, будто пробуя заслониться, и ноги его подкашиваются.

– Дурень! Идиот! – кричит на подводе старшина.

Я опускаю Юрку на снег – Бог ты мой, что это делается! Что творится, зачем это? Но мое недоумение тут же обрывается, сзади и совсем близко рвется снаряд. Тр-р-рах! Пыльные куски глины градом осыпают дорогу. Одним углом оседает в снег мазанка на повороте. Но это не мина – это уже танки. Они на подходе. Скоро влупят и нам.

Взрыв нас отрезвляет. Я подхватываю Юрку. От подводы ко мне бегут Катя с немцем – спасибо им обоим. На лице у Кати гнев и решимость. Волосы выбились из-под шапки, полушубок расстегнут.

Немец, неподвижно-напряженный и молчаливый, кажется, весь собран в слух. Будто его внимание не тут, а где-то далеко, возможно, там, где гремит бой. Вслушивается, ждет своих, что ли? Только теперь черт с ним, теперь бы скорее.

– Быстрее! – кричит с повозки старшина.

В ней почти уже пусто, на дне лежит обгоревший. Сбоку на дороге разбросанные связки стеганок. Мы укладываем на повозку Юрку. Следом в угол забиваюсь я. Катя вскакивает уже на ходу. Ездовой безжалостно стегают коней. Повозка вздрагивает, я едва удерживаюсь в ней и оглядываюсь – из-за поворота пока никого не видно. Неужели вырвемся?

И вдруг впереди огонь, треск и грохот. Туча земли со снегом взлетает к небу, и мы с ходу вскакиваем в это мрачное пекло дыма, земли и снега. Кони шарахаются в сторону, повозка клонится набок. Чтобы не вывалиться, я обеими руками цепляюсь за ее борт. Рядом в отчаянии ругается Катя:

– В сторону! Сворачивай в сторону!.. Раззява!..

Ездовой, едва не угодив с лошадьми в глубокую воронку на улице, кое-как объезжает ее. Кажется, пронесло. Повозка выпрямляется, кони рвут в галоп. Но тут же под колесами треск – что-то ломается. Это мы насканиваем посреди дороги на разбитую пустую телегу. В оглоблях бьется на снегу конь, под его брюхом – лужа крови. Поодаль у плетня распласталась неподвижная солдатская фигура в задранной измятой шинели.

Я хватаюсь за Юрку, оглядываю своих. Кажется, обошлось – все целы. Только старшины почему-то здесь нет. Он сзади. Вместе с немцем, ухватившись за перекладину, вприпрыжку бежит за повозкой. С его пальцев на полы моей шинели течет кровь.

Сквозь взрывы и густое тивканье пуль мы прорываемся на околицу. Дальше, за гатью, – широкая балка-лощина. Снег истоптан множеством ног людей и коней, изрыт колесами повозок, машин. Все из этого села устремились туда. Мы, наверно, последние. На гати низко осел брошенный «ЗИС» с раскрытыми дверцами.

Повозка наша сворачивает в балку. Тряска становится сильнее. Я хватаюсь за борта обеими руками.

– Ой! Ой! Стойте! Не могу. Что же это делается! – кричит закутанный в полушубок летчик.

Катя молча придерживает его забинтованную голову, чтоб не билась о доски передка.

Позади потные лица немца и старшины. Евсюков все еще не может успокоиться от своей стычки на улице и остервенело ругается:

– Дурак набитый! Обормот! За расписку – пулю. За кучу вшивого тряпья. Вот гад! Остолоп! Лучше б уж разгильдяй, да с головой чтоб!..

В самом деле это ужасно: свой – своего! И за что? Хорошо еще, что попал в руку. Рана у старшины, кажется, не опасная, крови он теряет немного.

По балке везде бойцы. Бегут в одиночку и группами. Конных уже не видно. Далеко впереди скрываются за поворотом повозки. Некоторых пеших мы уже и обгоняем. Теперь мы – не самые последние. Появляется надежда – а вдруг вырвемся! Я прижимаюсь к Юрке. Шинелка на нем окровавлена, наверное, сдвинулась повязка. Он по-прежнему молчит, сжав зубы. Эх, Юрка! Держись, брат, крепись, перетерпи, молю я мысленно, сам едва удерживаясь за борта повозки. И в такой вот момент над нашими головами размашистый сверк молнии. Невольно мы пригибаемся – далеко впереди взлетает вверх столб снежной пыли. Это болванка.

Все, как по команде, мы оглядываемся. Так и есть – они уже вышли на окраину. На гать возле «ЗИСа» из-за крайних хат их выползает около десятка. Некоторые останавливаются, сверкают огненной вспышкой с дымом и опять направляются по балке вслед за бегущими.

Тр-рах! Трах! – рвет сзади и сбоку. Над нами в воздухе еще проносится снаряд. Его прерывистое фыркание укладывает нас в повозку. Впереди на склоне балки вырастает красивый клубчато-пушистый разрыв. Сзади в снежном просторе густо рассыпается пулеметная трескотня.

– Гони! – кричит Катя. – Гони ты, растяпа!

Ездовой приподнимается на передке и из-за плеча кнутом лупит коней. Те все в мыле и мчатся так, что, кажется, разнесут повозку. Мы нагоняем нескольких бойцов в расстегнутых шинелях, без ремней. Один, молодой, без шапки, с круглой, под нулевку остриженной головой, на ходу пробует вцепиться в подводу. Старшина гонит его:

– Куда? Куда прешь?! Тут раненые.

Парень с отчаянием в глазах сворачивает и какое-то время трусит рядом. Я жду нового взрыва. В самом деле, сколько так можно проехать на прицеле у танков? Хоть бы они не останавливались – с ходу все же труднее попасть. Но ведь нагонят. Черт побери – где же выход?

Да, скверно! «Гони, браток, гони!» – мысленно прошу я ездового. Впрочем, он и без того гонит изо всей силы. Только надолго ли? Впереди, кажется, поворот, вот бы успеть до него.

А пулеметная трескотня все ближе.

Тут уже много бойцов – молчаливые, раскрасневшиеся, со страхом в расширенных глазах. Ими никто не командует. Это тылы – обозники, кладовщики, ездовые, техники... Многим такая горячка, видно, в диковинку, к огню они не привыкли. Я знаю: единственное, что теперь правит их чувствами, – это власть страха. Средство к спасению у них теперь одно – ноги. Только средство это не самое надежное. Скорее, наоборот.

Старшина дико ругается:

– Стойте, растакую вашу неладную! Куда прете! Раздушат, расстреляют, как зайцев. Стойте! Остановитесь!

Люди оглядываются на крик, только никто не останавливается. Незнакомый человек в куртке для них не начальство. Тем временем над самой повозкой снова фыркает снаряд. В полсотне шагов впереди грохочет разрыв. Кони вскакивают дыбом и кидаются в сторону.

Нас обдаёт снегом. Повозка едва не переворачивается. Кажется, она вот-вот опрокинется на косогоре. Каким-то чудом мы минуем занесенную снегом рытвину.

И вдруг совсем рядом на склоне я вижу знакомую фигуру в полушубке и черной кубанке. Одна рука у него под полый: наверное, ранена. Пустой рукав болтается на ветру. Это Сахно. Капитан оглядывается, на его чернявом потном лице растерянность. Ко лбу прилипла черная прядь волос, рот широко раскрыт от усталости.

– Эй, ребята! Пстой!

– Придержи! – бросает ездovому Катя.

Кони замедляют бег. Капитан обессиленно подбегает к повозке, хватается рукой за борт и, придерживая на голове кубанку, неловко вваливается в повозку. У меня все омрачается внутри: зачем он тут?

Ездovый гонит коней. Повозку сильно подбрасывает на присыпанных снегом кочках. Где-то сзади рвутся подряд два снаряда. Старшина ругается:

– Что только делается, а? И где начальство? Проспали, проворонили весь Кировоград!

Сахно на повозке медленно приходит в себя, то и дело начинает оглядываться. Но молчит.

Старшина злится все больше:

– Разведка, хрен ей в глаза! Шнапсу, конечно, надулась! На радостях! Еще бы: ударили, прорвались, пошли без оглядки! Давай наградные писать. Ясное дело, лишь бы на передовой все по графику. А тут что делается – наплевать!

Сахно вдруг круто оглядывается. Впервые в его ястребиных глазах вспыхивает строгость. Недобрым, злым взглядом он окидывает старшину, но тот сознательно этого не замечает. Кажется, старшина может сказать и больше, и не только такому начальнику, как этот капитан. Он производит впечатление человека, сильного во всех отношениях.

Тряска тем временем становится невыносимой. Кажется, разнесет повозку. Обожженный под полушубком кричит:

– Сестра! Не могу я! Стойте! Остановите коней!.. Я не могу...

С передка в злой несдержанности оборачивается Катя:

– Замолчи! Замолчи сейчас же! Что ты кричишь! Не можешь – слезай к черту!

– Болит! Болит же, у-у-у-у-у...

– Терпи!

Мы взлетаем на бугорок. За ним спуск, там нас уже не достать. Ну еще минутку, полминутки... От напряжения я впиваюсь зубами в губу, будто так легче. Еще немножко... И тут...

Тр-р-рах! И-у-у-у-у-у...

Что это?.. Откуда?.. – ошеломляет меня недоумение. Повозка взлетает передком вверх, перекашивается. Какая-то сила подхватывает меня в воздух и больно швыряет головой в снег. Рядом, возле плеча, пропахав в снегу борозду, вдруг останавливается расколотый угол повозки.

Я тут же подхватываюсь и на руках и коленях отскакиваю в сторону. Повозка опрокинута набок. Кто-то отчаянно матерится. Катя поднимает со снега летчика. Один конь, упав на передние ноги, бьется головой о снег. Второй дергает повозку. Его хватает за уздечку старшина.

Но я, кажется, цел и, вскочив, бросаюсь к обернутой набок повозке. Юрка чудом держится в перекошенном кузове. Меня опережает немец. Плечом он сильно поддает снизу

и ставит повозку на колеса. Впереди крик Сахно:

– Режь постромки! Постромки!

Старшина хватается за постромки, а Сахно заваливается в повозку. Немец уже суетится возле Кати. Вдвоем они через борт втаскивают в кузов летчика. На снегу сбоку лежит ездовой. Голова у него... Впрочем, головы нет. Лучше туда не глядеть.

Старшина чем-то перерезает пару толстых постромок и хлещет коня. Последнего нашего коня, который обессиленно дергает повозку. Второй остается сзади и гребет ногами по снегу. Ему уже не подняться.

– Быстрее! Быстрее!

Я не знаю, это кричит кто-нибудь или, может, это вопль моей души. Я только каждой частицей тела чувствую, что надо торопиться. Вот-вот снова ударят танки, они уже настигают нас. Над балкой гул и лязг. Гремят выстрелы, танковые пулеметы захлебываются в огневой ярости. Кругом крик и ругань. К повозке подбегает какой-то сержант в гимнастерке, без шинели. Его грудь с орденом Славы густо залита кровью. Он удушливо хрипит и молча переваливается в кузов. Я едва успеваю отодвинуть Юрку.

Наконец мы за пригорком. Тут уже нас не достанут. Впереди в балке, в полукилометре отсюда, село. Заснеженные мазанки, плетни, утренние дымки из труб и – дорога. Бегущих тут уже больше. Наверно полагая, что в селе спасение, они мчатся туда изо всех сил. Но я замечаю, что в селе пусто. Организованной обороны тут нет. Тут вообще уже никого не осталось. Видно, поддавшись панике, драпанули и здешние подразделения. А дорога вот она – отличное шоссе, ведущее на Кировоград. Займут, перережут – быть тогда и еще большей беде.

Все время боком, рискуя перевернуться, повозка катится по снегу. К нам бегут люди. Кто-то еще заваливается в кузов, несколько раненых цепляются за борта. Пожилой боец в разорванной шинели, устало труся рядом, глухо и молча плачет без слез. Его щетинистый подбородок судорожно дергается сверху вниз. Старшина не переставая лупит коня. Мы минуем группу, несколько одиночек и еще, видно, человек десять. И тогда Сахно решительно соскакивает на снег.

– А ну, стой! Стой! – кричит он на бойцов и выхватывает из кобуры пистолет. – Назад! Пристрелю всех как изменников! Назад!

Бросив вожжи Кате, соскакивает с подводы и старшина. Он также начинает кричать «Стой!» и кого-то догоняет. В шею толкает его к капитану. Сахно направляется в другую сторону. Вдали по склону пригорка бегут несколько человек, и он, не целясь, стреляет туда из пистолета. Беглецы сначала останавливаются, потом, разбредясь, идут вниз. Около старшины набирается десятка полтора случайных людей.

– На бугор! Марш на бугор! – кричит Сахно и выбрасывает в поле руку.

От группы отделяется старшина:

– Братва, а ну бегом! У кого гранаты – ко мне! Покажем им кузькину мать!

Усталые, они не очень решительно бегут назад на пригорок. Сахно еще кого-то останавливает и гонит за всеми. Кого-то бьет рукояткой по шее. Что ж, может, так и надо. Надеяться теперь не на кого, никто тут нас не защитит. Разве что сами себя.

В какой-то неопределенной решимости я также соскакиваю с повозки. Соскакиваю и приседаю на одну ногу (поспешил все же!). Ну, черт с ним! Погибать, так на поле боя. На мое место сразу кто-то влезает.

Я ковыляю в степь. Сзади, отдаляясь, стучит повозка, только я не оглядываюсь. Я знаю –

нам уже больше не встретиться.

Уже немало пройдя по свежим следам, я бросаю короткий взгляд назад. Вблизи никого. Далеко внизу повозка въезжает в село. Но где же Сахно?

Капитана нигде не видно. Впереди его нет, а сзади... А сзади на повозке чернеет знакомая кубанка.

Между тем небольшая группа со старшиной во главе быстро разворачивается в цепь. Давясь обидой, я достаю из-за спины карабин и выхожу на пригорок.

Глава девятнадцатая

Однако довольноно.

Нам приносят ужин и обед – на сегодня все сразу. Немолодая полнолицая официантка в наколке ставит две тарелки с бифштексом и по селедке с луком. Наблюдая за быстрыми движениями ее ловких рук, я думаю, что так можно сойти с ума. Вспоминать все это не намного легче, чем когда-то было переживать. Все муки повторяются почти с прежней силой. Впрочем, оно и понятно: слишком много душевных и физических сил все это мне стоило.

Мой сосед оживляется. Откладывает газету и, довольный, придвигается к столу. Перво-наперво берет пузатый графинчик и наливает две рюмки.

– Ну что ж! Глотнем. Кстати, я не знаю, как вас величать, – говорит он, задерживая поднятую рюмку.

Я рассеянно беру свою.

– Василевич.

– Василевич? Белорусская фамилия. А я Горбатюк. Павел Иванович.

Исподлобья я вглядываюсь в его лицо. Нет, черт возьми, для Сахно он ведет себя чересчур уверенно. Пожалуй, там, в гостинице, мне померещилось все это, и я едва не наделал глупостей. Он бросает на меня короткий, почти приятельский взгляд:

– Ну, будем здоровы!

И со сдержанным наслаждением выпивает. Хакнув, берется за вилку. Я сижу со своей рюмкой в руке. Чтоб выпить за здоровье, надо его иметь, иначе это пустой и формальный тост. У меня есть другой. Я буду пить не «за». Я выпью «против». Против того, что меня привело сюда. Чтобы больше оно мне не мерещилось.

Мы принимаемся за еду. Я перетерпел и без особой охоты выбираю с тарелки лук. Внимание мое переключается на соседей, что за спиной Горбатюка (если только он Горбатюк). За двумя сдвинутыми столами четверо парней и три девушки пьют шампанское. Одна, что сидит напротив в конце стола, – маленькая, вся в черном, миловидная брюнетка, – кажется, само оживление. Там она центр внимания. Глаза ее так и горят восторгом. К ней обращены обожающие взгляды парней. Да и блондинок тоже.

– Вы воевали? – ни с того ни с сего прямо в лоб спрашиваю я Горбатюка.

Тот с достоинством выпрямляется на стуле:

– А как же. Всю войну. На Западном, а потом на Втором Белорусском.

– А на Втором Украинском не были?

– Украинском? Нет, не был. На Украине, к сожалению, не пришлось. Больше в Белоруссии. В Польше. Берлин брал. Вот где была баталия!

Он энергично и с аппетитом работает сильными квадратными челюстями. И снова то же спокойствие с нотками горделивости в тоне – брал Берлин! Нет, пожалуй, я круглый дурак. Идиот! Едва не устроил скандал. И все потому, что двадцать лет держу в памяти каждую мелочь из моего не столь уж богатого военного прошлого. Не лучше ли махнуть на все и забыть? Как это сделали многие другие.

Если бы только это было возможно!..

Горбатюк тем временем отодвигает пустую тарелку и снова поднимает графинчик.

– Ну так что? По второй? За Победу.

Припомнил! После своего дорогого здоровья он пьет за Победу. Ничего себе ветеран! На этот раз он протягивает руку, и мы чокаемся. Горбатюк сразу опрокидывает рюмку. Я нерешительно держу свою двумя пальцами. За соседним столом, лукаво улыбаясь глазами, пригубливает бокал чернушка. Ее компания за столом взрывается хохотом.

– Эрна, восхитительно!

– Два ноль в пользу Эрны!

– Любушка, твою лапушку!

Плечистый блондин в серой, с карманами на груди рубашке склоняется над ее рукой. Горбатюк оглядывается и со значением кивает головой.

– Тунеядцы белорусские?

Я не отвечаю. Посуда на столе сверкает россыпью ресторанных огней. Рядом возле своего столика в простенке хлопочет официантка. В зале – приглушенный гул. Хорошо еще, что вокзальные рестораны обходятся пока без оркестра. Иначе расколосась бы голова.

Тем временем Горбатюк берется за нож и вилку.

– Вы офицер? – спрашиваю я.

– Гвардии майор запаса.

Отрезав кусок бифштекса, он посылает его в рот. Майор? Может быть. Конечно, после капитана следует майор. Если действительно не Сахно, то, видно, какой-нибудь командир батальона. А может, политработник? Или помпотех. Если, скажем, служил в танковых войсках. Если танкист – я ему признаюсь во всем и попрошу извинения. Перед танкистом я сниму шапку.

В графинчике колюче блестят, сходятся и разбегаются огоньки-искры. Потееют выпуклые стенки фужеров. Радужная подковка нежно лежит на белом полотне скатерти...

Глава двадцатая

Ну вон и танки. На суженных интервалах, выстроившись все в ряд, они ползут по широкой балке-лощине. Правда, ползут осторожно, видно, не стараясь давить бойцов гусеницами – они их уничтожают огнем. Глубинный, металлический гул, все усиливаясь, плывет над землей.

На фланг я уже не бегу. Пригнувшись, вхожу в цепь, где она несколько реже, и падаю в снег. Снег тут неглубокий и рыхлый, повсюду торчат серые стебли бурьяна. Справа от меня шевелится кто-то в полушубке. Возможно, какой-нибудь командир. Только он не командует. Теперь он, как и все, рядовой в цепи старшины Евсюкова. С другой стороны от меня торопливо устраивается на снегу длинноногий боец в короткой шинелке. Над заснеженной морозной степью сквозь дымку просвечивает невысокое зимнее солнце.

– Огонь! Какого черта лежать! Огонь!

Это в цепи встает на коленях старшина. Его темная десантная куртка резко выделяется на свежем снегу.

Да, конечно, нужен огонь. Иначе чем мы можем сдержать эти танки? Вот только что мы им сделаем нашим огнем? Если бы хоть парочку ПТР. Да чтоб гранаты...

Из цепи редко и недружно начинают бахать винтовки. Кто-то пускает длинную очередь из автомата. Танки, наверно, пока нас не видят. Я лежу в каком-то оцепенении, вобрав руки в мокрые рукава шинели. Мерзнут пальцы. До самого колена горит, ноет нога. В карабине всего пять патронов, и я выпущу их, когда танки подойдут ближе. Чтобы попасть хоть в какой-нибудь триплекс.

Танки приближаются с каждой минутой. В балке тяжелый моторный гул, приглушенный лязг гусениц. Беглецов перед ними уже не видно – живые все за пригорком. На широком пологом склоне, истоптанном сотнею ног, несколько трупов, разбитая повозка, а чуть ближе – наш издохший конь. И вдруг кто-то там оживает и начинает ползти. Изнеможенно волочит по снегу, видно, перебитые ноги. Сразу же на лобовой броне переднего танка вспыхивает огненный сверк, и человек навсегда вытягивается на снегу.

– Огонь! Огонь, черт бы вас побрал!.. – кричит Евсюков.

Я кладу на ладонь карабин и прицеливаюсь. Приклад туго отдает в плечо, и мне жалко напрасно истраченного патрона. Скоро он мне ой как понадобится. Неторопливо начинаю целиться снова. И тут рядом рвется снаряд. Взгляд теряет цель, меня обдает тротильным смрадом и снегом. На взрыв я не оглядываюсь – я только чувствую: ну вот и увидели! Теперь держись! Теперь дадут жару.

Но что это? Сбоку на снегу через балку, будто стремительно натягиваясь и обрываясь, нет-нет да и сверкнет красноватая нить. Раз, второй. И над танком на косогоре появляется дымок. Я кидаю взгляд на соседа в полушубке. Так и есть – это он бьет трассирующими. Только почему дым? Неужели поджег?

Тр-р-рах! Тр-р-рах!

Рвет с недолетом, перед цепью. На несколько секунд танки пропадают за снежно-земляной тучей разрывов. Я утыкаюсь лицом в землю. Вокруг шаркают комья, и, когда ветер сгоняет с воронок дым, впереди открывается чудо: один танк горит.

Просто не верится, но так. Танкисты из него уже повыскакивали. В борту и в башне раскрыты люки, корма его вся в огне. Два ближних к нему танка останавливаются. Бугор

отзывается трескучей огневой яростью.

– По бочкам огонь! По бочкам! – сквозь гул и грохот прорывается издалека крик Евсюкова.

И только тут я понимаю: на танках – бочки с горючим. Потому и такая удача.

Я торопливо прицеливаюсь в ближний к нам танк, который медленно поворачивает свою широкую грудь в сторону нашего пригорка. Кажется, у него на борту что-то торчит. Бочки или что-то другое – отсюда не рассмотришь. И я быстро стреляю сбоку, пока это «что-то» еще не закрыла башня. Только знака от моего выстрела никакого – ни огня, ни дыма. А рядом посверкивают трассирующие соседи.

Задний уже горит густым пламенем. Красные космы огня шугают на ветру, и черный хвост дыма размашисто стелется над степью. Остальные его оставили, обошли и торопливо разворачиваются на нас. Воздух над цепью туго пронизывают их густые малоприцельные очереди.

«Нет, это вам не в балке! Это вам не в балке!» – кричит во мне злой мстительный голое. Недавнее уныние исчезает. Я уже готов драться. Я даже хочу, чтобы они скорее подошли ближе. Странное, непонятное желание! Но все равно хочу. Меня распирает азарт боя и жажда отмщения. И, видно, только потому, что горит их подожженный пулей танк. Остальные одиннадцать двигаются ближе. Вскоре нам будет туго.

Но пусть!

Цепь отвечает нестройным залпом, беспорядочно грохочет выстрелами. Торопливо бьет трассирующими сосед. Я присматриваюсь к его винтовке – кажется, она трофейная, как и мой карабин. И сразу же возникает решение. Я подхватываюсь со своего места и бросаюсь в снег. Сзади близко рвется снаряд. Земля подо мной упруго вздрагивает, осколки с визгом распарывают небо. Я подползаю к человеку в полушубке.

– Как бы патрончиков? Хоть обоймочку, а?

Человек, не реагируя на мое появление, сосредоточенно целится и стреляет. Потом судорожно хватается за рукоятку затвора. Он уже немолодой, с седыми висками. Под белым воротником полушубка виден красный кант кителя – значит, командир.

– Нет патронов! Нет патронов! – хрипит он прокуренным шепелявым голосом, который мне кажется знакомым. Да это же тот капитан, который ночью в селе разгружал «студебеккеры». Вот тебе и ДОП! Не послушал тогда, а теперь приперло. Из его оттопыренного кармана торчат цветные головки патронов. Но вот не дает.

– Хоть одну обойму! – раздраженно прошу я.

Капитан отрывается от карабина:

– Катись отсюда! И не демаскируй!

Он коротко поглядывает на меня, и я впервые вижу его растерянное лицо, бегающие глаза, раскрытый рот – он явно боится. Но как же он тогда подбил танк? Боясь? Наперекор страху? Впрочем, и я, пожалуй, такой же, только не вижу себя! Все мы тут не в лучшем виде, и ничего удивительного. Выругавшись с досады, я по снегу бросаюсь от него на свое место. Но не проползаю и половины пути, как сзади в неистовом грохоте разверзается земля, меня совершенно оглушает. Одновременно что-то сильно бьет по бедру и по шее. И все же я смутно чувствую: это не осколок, это – комья. Крутнувшись на снегу, сразу же оглядываюсь – вдгонку шугает тугой клуб дыма. Секунд пять капитана не видно, затем в дымном месиве на земле начинает обозначаться воронка. Одна пустая, свежая, пыльная воронка, и больше ничего и никого. Я круто поворачиваюсь и, разгребая руками снег, почти обрадовано

бросаюсь к ней. Теперь там укрытие, а возможно, и спасение: второй раз в одно место снаряды не падают.

Мягкая и теплая воронка скрывает меня от огня. Правда, здесь сильно воняет тротилом и неглубоко, не больше чем на одного человека. Но пулям тут меня не достать. Капитана нигде нет. Даже странно! Только под боком что-то твердое, я шарю рукой и вытаскиваю закоптелый приклад карабина с обрывком ремня. И все. Выбрасываю обломок в снег и невдалеке вижу нечто бессмысленное. Это помятый, вывернутый шерстью наружу полушубок с обрывками ремня и портупей. И возле него еще что-то сизо-парное, залитое кровью. Кровь и рядом, на перемешанном с землей снегу. Эх, капитан, капитан!.. Но мысль о патронах придает мне неожиданной прыти. Оглянувшись, я выскакиваю из воронки и ползу к окровавленным останкам человека, от которых на морозе клубится легкий парок. Подавив брезгливость, лихорадочно разгребаю клочья одежды. В дырявом кармане нахожу две обоймы бронебойно-зажигательных патронов. Одна, правда, уже начата, но Бог с ней. Рядом, в рукаве полушубка, коченеет на снегу полуоторванная капитанова рука. Воскового цвета пальцы медленно растопыриваются и замирают. Я хватаю патроны и бросаюсь в воронку.

Ну, гады, теперь идите! Теперь мы продырявим ваши бочки! – думаю я, запихивая в магазин патроны. Тем более что танки уже гораздо ближе. Теперь можно выбирать, куда целиться.

Только почему-то они не идут. Они становятся в ряд, метрах в четырехстах от цепи, и направляют на бугор пушки. Я удобнее устраиваюсь на краю воронки и не успеваю еще сообразить, как быть дальше, как бугор во всю глубину сотрясается от нескольких взрывов. Высоко над головой фыркают осколки. По ветру несет сернистой гарью тротила. Я прижимаюсь к мягкому, утыканному осколками боку воронки, втягиваю в плечи голову. Танки начинают беглый огонь из орудий.

Тр-рах! Тр-р-р-рах! Трах-рах!

Ого, сволочи, вот это дают! Бугор заволакивает пылью, в воздухе сумеречный туман от разрывов. Снежный покров быстро темнеет от множества оспин-воронок. Я вижу, как на том фланге кто-то перебегает. Но не поймешь, куда – назад или в воронку. Теперь тем, кто на поверхности, – гибель.

Выждав минуту, я начинаю стрелять. Правда, пользы от этого никакой. Впереди только сверкнет короткая молния – и все. Куда попадают пули, и не поймешь. На танках если и есть бочки, то они уже все прикрыты башнями. Теперь их не возьмешь – это не с борта. Бить же по броне – мало толку.

И тут совсем рядом – разрыв. Меня снова оглушает, будто ватой затыкает уши. Сверху сыплется пыль. Ну и ну! Полой шинели я прикрываю карабин и сжимаюсь в воронке. Рвет еще и еще. При каждом разрыве тело невольно и до боли сжимается. Нутро мое то и дело содрогается, кажется, вбирая в себя болезненные толчки земли. Но надо поглядеть, где танки. Оказывается, они не спешат. После первого дружного напора их стрельба становится реже. Разрывы тоже редуют. Теперь они бьют прицельным огнем. Сволочи! Что делают! Выстрел – разрыв, и одного бойца в нашей цепи нет. Потом разрыв на месте другого. Вот это тактика! Такой я еще не видел. Они выбивают нас по одному. На местах бойцов в цепи – ряд черных воронок. Так нас ненадолго и хватит.

Хоть бы повезло попасть в триплекс! Слепить какой-нибудь танк! Я снова прикладываюсь и торопливо стреляю в колпак перископа, что едва угадывается на плоской

верхушке башни. Только не попадешь – далеко. Хватаюсь за рукоятку, чтобы перезарядить, как вдруг по лицу размашисто хлещет что-то, залепляет глаза, рот... Утеревшись рукавом, вижу – в двух шагах впереди торчит из снега снаряд. Рванет! Я сжимаюсь в воронке, обхватив голову, но тут же догадываюсь: не рванет, это болванка. Они уже бьют по нас и болванками!

Выругавшись, осторожно высовываюсь из воронки. Нетрудно догадаться, какой из танков выпустил по мне болванку. Он вон, неподалеку от того, что догорает сзади. Отсюда хорошо виден черный зрачок его пушки. Он смотрит в меня. Значит, выстрелит еще. Хотя бы не осколочным! Я прицеливаюсь в этот зрачок, думается: а вдруг попаду в кого-нибудь через пушку. Может же так случиться, когда перезаряжают оружие и открыт затвор. Конечно, это маловероятно, но чем черт не шутит. Старательно целюсь, теперь я не имею права промахнуться. Однако еще не успеваю нажать на спуск, как сзади, тяжело дыша, кто-то вваливается в воронку. Выстрел получается преждевременный, и я чувствую – не попал.

Я поджимаю ногу и оглядываюсь. В воронке молодой боец. Он с испачканным землею лицом и в каске, которая сползла ему на глаза. Один рукав его шинели порван и залит кровью. Я думаю, парень попросит перевязать.

– Фу, добежал! – запыхавшись, говорит он, взглянув на мои погоны. – Мне бы вот связать чем.

Из-за пазухи на полу шинели он выкладывает несколько гранат. Это «лимонки». Я гляжу на них и не понимаю, зачем их связывать? Обычно связывают РГД, когда бросают под танки, а «лимонки»?.. Всего три, да и те неизвестно, как скрепить вместе.

– Я бы сам, да вот!.. – шевелит он окровавленной левой рукой. – Одной не управлюсь.

– А кинешь? – недоверчиво спрашиваю я.

Парень поднимает на меня свои озабоченные глаза:

– Кину. Правая же вот! Пусть подойдут.

Действительно, может, стоит попробовать. Только чем их связать?

– А если обмоткой? – подсказывает парень.

– Давай.

Мы быстро раскручиваем на его ноге зеленую заскорузлую обмотку. Отложив карабин, я связываю ею все три гранаты. Гранаты черные с зелеными взрывателями. Па планке одной из них выцарапано чем-то острым: «М. Коваль».

Рядом снова грохот, на голову сыплется снег. Я торопливо поглядываю на цепь – видно, скоро тут уже никого и не останется. Вот тогда они, ясное дело, и пойдут. А так зачем рисковать?

– А вы, наверно, снайпер? – говорит парень и кивает головой на танки. – Ловко его! Бронебойно-зажигательной, да?

– Это не я.

– Да ну? Я же видел, – возражает Коваль, устраиваясь рядом на боку воронки.

Он молод и самонадеянно упрям в своем мнении. Меня это начинает раздражать.

– Ничего ты не видел, – говорю я. – Шпарь-ка лучше в тыл. Ранен – нечего тут отираться.

Парень косит на меня недовольным взглядом:

– Нет. Я подорву хоть одного гада.

– Подорвешь! Вот сейчас как влепит – так сам сперва подорвешься!

Боец недоверчиво выглядывает из воронки. Кажется, он действительно намеревается своими «лимонками» подорвать танк.

А они все стреляют. Они на глазах выбивают нашу цепь. Бьют болванками и осколочными. Для каждого – персональный снаряд. Не слишком ли много чести! Должно быть, снарядов у них хватает. Наверно, это в отместку за тот догорающий уже танк. Капитана давно нет, а танк, им подожженный, еще горит.

Трах!

Мы оба пригибаемся, стукнувшись в воронке головами. Разрыв окатывает спины волной земли и снега. Это, кажется, по нас. Но воронка спасает. Парень поднимает глаза. В них, однако, ни капельки страха, только настороженность и терпеливость упряма.

– Герой!

– Чего? – не понимает парень.

– Говорю, герой! – кричу я сквозь грохот разрывов.

– Конечно, злой! Потому, что безобразие!

Безобразие – это факт. Отбили половину Украины, прорвали фронт, окружили Кировоград. А тут вот заминка – гоняют, как зайцев по степи.

Мы стряхиваем с себя снег, землю, и я думаю, не слишком ли они израсходовались на нас? Два снаряда на одну цель! Хотя третий, наверно, уже будет последним. Идиотское все же дело – лежать и в совершенной беспомощности ждать смерти. Появляется желание, чтобы танки двинулись с места, пошли хоть назад, хоть вперед, лишь бы только прекратили огонь. Со временем я также начинаю поглядывать на серую обмотку, которой связаны три «лимонки».

И в такое вот время где-то вдали над степью мелькает трассер. Нет, это не пуля. Красная огненная звездочка, сверкнув на башне крайнего танка, высоко взвивается в небо. Я сразу оглядываюсь на село – в вишеннике возле мазанки стоит танк. Откуда он взялся? А второй выползает со двора и останавливается за плетнем. И на улице – за хатами и вишенником – шевелятся серые, в облезшем зимнем камуфляже, танки. Они только что подошли. Это наши танки, их не очень густо, но все же это подмога. С ними нам уже легче. «Ага, не нравится!» – внутренне кричу я. Немецкий танк, по которому ударил снаряд, дергается на месте, дрыгает гусеницей и торопливо разворачивает башню. Еще одна молния широко сверкает над пригорком и балкой, но – мимо. Бронебойный бросает охапку снега в бок рябого танка, потом, отскочив, рикошетом бьет в снег еще раз и исчезает. Но тут проносятся новые трассеры. Село начинает яростную орудийную пальбу, и она теперь так нам по душе!

Из цепи уже кто-то бежит вниз, к хатам. Кто-то встает и падает. Мелькает среди закопченной, перемешанной со снегом земли и, видно, прячется в воронку. Отход? Кажется, да. Вскоре я вижу на снегу знакомую фигуру в куртке – это Евсюков. Он бежит меж воронок и рукой машет оставшимся: назад!

А немецкие танки на склоне балки один за другим дают задний ход. Разрывы на пригорке почти одновременно стихают. Весь свой огонь немцы переносят в село. Через наши головы с двух сторон вжигают трассеры. Фурк, фурк – едва не сшибают головы болванки. Но из балки танки не уходят – они перестраиваются и берут вправо, в сторону от села. И мы ничем не можем помешать им – там мы бессильны.

Что делать дальше? Может, теперь мы тут и не нужны? Действительно, надо убираться – гибель пока откладывается. Возможно, еще все обойдется? Я встаю в воронке и окликаю бойца. Он, однако, нахмутив светлые брови, почему-то не проявляет никакого проворства.

– А ну, перебежками!

Коваль сопит и замирает на дне:

– Не пойду.

– Что? Ты команду слышал?

– А что команда? Я ранен.

Он притворно несгибающейся левой рукой, правой прижимая к груди сверток с гранатами.

– Чудак! – кричу я. – Что ты им теперь сделаешь?

Наши перебегают по склону вниз. Немецкие танки там уже их не видят. Грохочет в степи и на той стороне, в селе. Началась танковая дуэль, в которой пехоте уже нет дела.

– Гады! – ершится парень и вытягивается на моем належающем месте. – Они Москальчука убили.

Он вдруг всхлипывает и грязным кулаком размазывает по лицу слезы. Взгляд его понуро упирается в немецкие танки. А те куда-то ползут и ползут. Видно, обходят село.

Тогда парень всхлипывает сильнее и выскакивает из воронки.

– Стой! Ты куда?

Но он даже не оглядывается. Вскоре падает в воронку, потом вылезает из нее и бежит дальше. Как будто наперерез танкам.

Вот же дурень! Упрямства и ярости хоть отбавляй, а соображения ни на грош. Допустим, он их нагонит, но что он там сделает со своими тремя «лимонками»?

Скоро он пропадает где-то среди воронок, мне же надо в село. Как это ни странно, а кажется, еще доведется увидеть Юрку. Как он там, дружище?..

И я вылезая из воронки на разметанный и искромсанный взрывами снег.

Глава двадцать первая

Обессиленные и подавленные, мы бредем по неглубокому снегу в село.

Нас немного – человек двенадцать. Одного двое несут на шинели. Второй изнеможенно плетется, опершись на товарища. Все молчат. Многие с обнаженными головами. Кто-то прижимает к боку обвисшую, как плеть, руку. Я ковыляю последним. Карабин, который ничем не послужил мне в бою против танков, теперь с успехом заменяет костыль.

Узкой тропкой вдоль тына мы выходим на улицу и сразу натыкаемся на «виллис» и «додж». Машины аккуратно приставлены к самой завалинке хаты. Возле них несколько командиров. Впереди видна высокая смушковая папаха на маленьком вертлявом полковнике. Этот полковник злым окриком останавливает всю нашу группу:

– Кто командир?

Хлопцы по-одному подходят и останавливаются. Все хмуро молчат, полные еще не до конца пережитого страха. Даже не верится, что мы уцелели. А сколько погибло в воронках!.. Полковник нетерпеливо переступает валенками и зло щелкает себя прутиком по голенищу. Рядом молча стоят несколько командиров из его группы. Все мрачно смотрят на нас.

– Кто старший, я спрашиваю? – со скрытой угрозой выкрикивает полковник.

– Ну, я старший, – подходя к начальству, хриплым басом говорит Евсюков. По-прежнему он распахнут, из-под куртки видна нательная рубаха. Бинт на шее в крови.

– Кто вы такой? Ваше звание? – спрашивает полковник и сводит над переносицей брови.

– Старший артмастер старшина Евсюков, – мрачно рапортует старшина, приставив ногу к ноге.

Полковник в упор приближается к старшине. Тот внутренне весь напрягается и сверлит полковника упрямым неуступчивым взглядом.

– Почему ушли с высоты? Кто разрешил?

– А кто нам приказывал там быть?

Видно, как полковника передергивает от этой дерзости, и он деланным басом кричит:

– Что? Я вас спрашиваю: кто разрешил оставить высоту? Вы что – в трибунал захотели?

Евсюков, как-то не в лад с этой строгостью, тяжело вздыхает и расслабляется всей своей сильной фигурой.

– Эх, где вы раньше были, товарищ полковник?

Бритое лицо полковника краснеет от возмущения:

– Молчать! Вы с кем разговариваете?..

– Идите вы!.. – вдруг бросает старшина и, склонив голову и пошатнувшись, шагает на улицу.

Кто-то из командиров отступает в сторону, давая ему дорогу. Двое поднимают с земли раненого. Хлопцы медленно идут за своим командиром.

– Старшина! Приказываю вернуться! – кричит полковник, резко повернувшись назад.

Поравнявшись с ним, я тоже останавливаюсь. В душе у меня вдруг вспыхивает гневное чувство обиды:

– Он танки остановил. Если бы не он, немцы бы давно село заняли.

Полковник впивается в меня сокрушающим взглядом и минуту бессмысленно смотрит, будто не понимая, что я сказал.

– Вы кто такой?

– Младший лейтенант Василевич! – выпаливаю я, с вызовом уставясь в его злое лицо.

Я не боюсь. Что он мне сделает, раненому? Все, чего мы добились и что сумели, было совершено по нашей доброй воле. Не надеясь уже остаться в живых, мы легли под самые танки. Действительно, где ты тогда был, товарищ полковник?

– Марш туда, младший лейтенант! Приказываю подразделению оборонять высоту!

– У меня нет подразделения.

– Как нет? Где ваше подразделение? Марш один, сам! Черт вас возьми! Я вас заставлю!..

– Я ранен! Вот, не видите? – кричу я в ответ. После пережитого этот тон и требовательность, этот наскок неизвестного полковника раздражает и злит до бешенства. Пусть бы шли и защищали – вон сколько их тут, свежих, здоровых, высоко образованных в военном деле! Зачем заставлять калек!

Полковник что-то кричит и замахивается на меня прутом. Но тут где-то рядом раздается взрыв, который, видно, впервые в жизни меня не пугает. Соломой и какой-то трухой бьет в наши лица, чем-то горелым густо посыпает возле машин снег. Полковник падает, и тогда я невольно спохватываюсь: не убит ли? Черт с ним, пусть бы уж жил. Все же командир. Но я напрасно пугаюсь. Вскоре полковник поднимается, выползают из-под машин его командиры, и чей-то встревоженный голос предостерегающе вскрикивает:

– Товарищ полковник, генерал!

С улицы к нам сворачивает еще один «виллис». Полковник торопливо отряхивает с бекеши снег, а я, уже безразличный к его тревоге, бреду себе, куда пошли наши. Меня уже никто и не останавливает: им не до меня. Вскорости слышу, как генерал принимается отчитывать полковника:

– Что у вас тут делается? Почему дорога не перекрыта? Почему не выполнен приказ о выдвижении ИПТАПа? Разгильдяйство и головотяпство! Я отстраняю вас от командования...

Оказывается, он сам не выполнил приказ, потому так и накинулся на нас. Но мы не в силах заменить противотанковый полк. Мы не можем искупить его оплошность. Мы можем только погибнуть. Однако мы уже совершили что-то значительное, к чему не имеет касательства полковник, и это дает нам право не подчиниться несправедливому приказу. Не вполне осознанно еще, но я чувствую нашу правоту в этом конфликте.

Я вижу, как впереди какой-то боец с забинтованной рукой спрашивает о чем-то второго, встречного, и тот указывает ему вдоль улицы. Нетрудно догадаться, что они имеют в виду. Я иду за этим, перевязанным, стараясь не упустить его из виду. Тем более что уже темнеет: солнце скрылось и меж мазанок сгущаются сумерки. Просто странно, как быстро пролетел день, который там, на пригорке, казался таким бесконечным. Танки в другом конце села куда-то уходят. Теперь стрельба и скрежет болванок слышны за бугром в степи. Там же дым. То ли от того, подожженного капитаном, то ли на этот раз уже от нашего. Возможно и такое.

Прежние переживания отступают, и меня все больше охватывает беспокойство за Юрку. Жив ли он хоть? Неужели не выживет, погибнет теперь, когда чудом выбрались из самого ада? Теперь наши танки, видно, немцев сюда уже не пустят. Те м более когда появился генерал. Уж он наведет порядок. Так я полагаю, ковыляя по улице. Вернее, мне хочется, чтобы было так. Я совершенно выбился из сил, чувства мои одеревенели. Единственное желание владеет мной – прибиться где-либо к теплу и свалиться.

Боец, идущий впереди, сворачивает к домику с обведенными синей краской окнами. Похоже, это нежилой дом, может, сельсовет или немецкая управа, под жестью, с высоким

крыльцом. С помощью костыля-карабина добираюсь туда и я. Скрипучая дверь неохотно открывается, пропуская меня вовнутрь.

Глава двадцать вторая

– Ну, может, и по третьей? Раз не повезло с гостиницей, так хоть выпьем, – раскрасневшись с лица и заметно подобрев, говорит Горбатюк. – А ты почему не ешь?

– Я ем.

– Что это за еда? Вспомни, как, бывало, на фронте ели. Котелок пшенки на двоих и – как вылизанный. Ординарцу и мыть не надо.

– Котелок давали на четверых. По крайней мере в пехоте.

– Ну, в пехоте я не был, – благодушно признается Горбатюк.

Перед нами еще что-то блестит в графине. Горбатюк наелся, полноватые его щеки сыто лоснятся, глаза щурятся в снисходительной доброте. Я также готов подобрать. В конце концов, черт с ним, с этим Сахно! Ошибся, так, может, и лучше. Зачем мне встречаться с ним?

Горбатюк откладывает нож и вилку и мнет в кулаке бумажную салфетку. Я облакачиваюсь на стол. Не терпится узнать о нем до конца. Чтоб уж без всяких сомнений.

– Скажите, вы не танкист?

– А как же! Танкист! – с горделивой радостью восклицает Горбатюк. – Три года в танковой армии. От Курска до Берлина. Все стежки-дорожки прошел. Что, может, тоже танкист?

– Нет, пехота, – отвечаю я.

Но мой ответ его не разочаровывает.

– Пехота – царица полей. Основной род войск.

Взрыв веселого смеха за соседним столом заставляет его оглянуться. Возле чернушки, положив ей на плечо широкую руку, улыбается плечистый блондин.

– А тише нельзя? – строго спрашивает Горбатюк.

– Можно, – отвечает крайний за столом, круглолицый и светлобровый, в темном костюме парень. – Эрна, просят на полтона ниже.

– На полтона ниже! – с озорной властью приказывает Эрна соседу.

Тот, выждав, пока за столом уймется оживление, несколько тише, но все с тем же нарочитым пафосом продолжает:

– Ну скажите! Скажите, почему я ее люблю? Что в ней? Осанка? Грация? Красота? – наивно округляя глаза и жестикулируя широкими ладонями, спрашивает он. – Шпингалет! Кого она может родить, такая блоха? Разве что другую блоху! Это в биологическом, так сказать, плане. А в общественно-политическом?..

– Отставака! Хвост по политэкономии, – саморазоблачительно напоминает Эрна.

– Грубиянка! – подсказывает ближайшая к ней блондинка.

Остальные за столом кричат:

– Задира и насмешница!

– В стенгазете не зря продернули!

– Пospорила с ректором.

– Правильно! Все правильно! Спасибо за помощь. Сплошной пережиток прошлого. И частично будущего. А вот люблю. И все! Так объясните, почему? Вы! Философы! Моралисты! Комсорги! Почему, а?

Он притворно недоумевает. Ребята наперебой пробуют что-то объяснить. Одна Эрна

лукаво улыбается. Она-то отлично понимает это его «почему».

– Ну так что? Взяли? – для приличия спрашивает Горбатюк и разливает остаток водки. – Как говорят, дай Бог не последнюю.

– Ну!

– А впрочем, куда спешить? Посидим до закрытия. – Он отставляет рюмку и закуривает. Жадно затягивается. Потом окидывает меня пристально-испытующим взглядом.

– Что-то невеселый, гляжу. Или характер такой?

– Характер.

– Откуда приехал?

– Да тут недалеко. Из-под Менска.

– Ага. Белорус, значит. А где работаешь?

– В клубе.

– Значит, по культурной линии?

Мне неприятен этот сухой допрос, и, чтобы прервать его, я, в свою очередь, спрашиваю:

– А вы по какой линии?

– Я? Юрисконсульт. На полставки. Больше не выгодно – пенсию режут.

– Понятно. Пенсионер?

– Вроде этого. Пятьдесят два года. Но у меня выслуга. Всего двадцать восемь. С льготными, конечно.

Ничего себе, как говорят, протрубил человек! Двадцать восемь лет солдатской лямки – не шуточки. У меня три – и то переживаний на всю жизнь.

– Эх, жаль, пивка не заказали. Духотища такая!

Он поворачивается к залу и зовет официантку:

– Девушка! Девушка! На минутку.

Но «девушка» не слышит или не хочет слышать и идет себе меж столов на кухню. Тогда он встает.

– Ты посиди. Я закажу все же...

За столом я остаюсь один.

Глава двадцать третья

В хате совсем темно (или, может, так кажется) и очень людно. Так людно, что я не знаю, куда ступить от порога. И я стою, вглядываясь сквозь сумрак в неясные пятна лиц, бинтов, темные фигуры людей на скамейках и на полу. В нос бьет острый запах лекарств. Это обнадеживает – значит, медик тут есть, будет на кого положиться.

– Вот еще один защитничек! – с легким юморком отзывается кто-то у стены. – Ну как там: турнули немецких захватчиков?

Я вовсе не расположен к разговорам, тем более в таком вот тоне. Но легкая игривость в его голосе дает понять, что где-то тут женщина, и я всматриваюсь в полумрак – не Катя ли? От черной круглой голландки, возле которой копошатся бойцы, оборачивается кто-то в полушубке. Действительно, под шапкой знакомое лицо Кати.

– А, младшой! А тут дружок твой совсем нос повесил. Думали, крышка тебе.

Катя встает, и тогда я, уже несколько привыкнув к темноте, вижу на разостланной шинели Юрку. Он лежит на спине, без гимнастерки, по груди туго перевитый бинтами; и еле заметно пытается улыбнуться мне уголками губ.

На кого-то наступив, не обращая внимания на брань, я бросаюсь к другу и неловко опускаюсь возле него на пол.

– Юра! Юр!.. Ну как тебе? Легче? А, Юрка?

Я всматриваюсь в его серое, без единой кровинки лицо с острым, каким-то не Юркиным носом. Не дождавшись ответа, чувствую: дела его плохи. Плохо Юрке, и еще как плохо!

– Так, ничего... Легче, – шепчет губами Юрка. В его запавших глазах на секунду вспыхивает радость, которая, однако, тут же и тускнеет.

Я все это вижу. Я понимаю и хочу его ободрить.

– Знаешь, отбились! Танки подошли. А то была бы хана всем. Теперь мы тебя, Юра, в госпиталь. В первую очередь, – говорю я, веря, что отправлю его. Теперь уж я этого добьюсь.

Но тут кто-то недоверчиво сопит рядом:

– Гляди, отправишь! На самолете разве?

Эта реплика меня настораживает. Я поворачиваю голову – у стены возле двери с винтовкой меж колен сидит и посасывает сигарку какой-то боец. И рядом (гляди ты: снова тут как тут) дремлет «мой» немец.

– Почему самолетом? – подозревая недоброе, спрашиваю я. – Машиной, подводой отправим. Видите, тяжелораненый?

– Гм!.. Мы-то видим. А вот ты?..

– А что? Чего я не вижу?

Я уже готов взорваться – не хватает выдержки, сдают нервы. Что тут еще произошло?

– Влопались, вот что. Промеж молотом и наковальней.

– Ну ты, там! – строго раздается из угла от стола знакомый голос. – Прекращай разговорчики!

Ну конечно же, тут и капитан Сахно. В темном углу. Его отсюда почти не видно, он же, наверное, видит всех. И что-то он чересчур уж начальственно покрикивает – наверное, тут старший по званию. Как от боли, сжавшись в недобром предчувствии, я поглядываю то в угол, то на бойца возле порога. Но тот, подмигнув мне одним глазом, тихо спрашивает:

– Понял?

Да, понял. Конечно, не хитрое дело снова попасть под удар, если в тылу черт знает что делается. Чего еще ждать, кроме как удара, окружения, разгрома? Но есть же и наши танки. Это не сорок первый год. Нет, паниковать все же рано. Еще посмотрим, кто попадет на наковальню.

– Ладно, хватит вешать носы, – говорит Катя, пробираясь от двери. Она несет котелок с горячей водой. Из-под крышки густо идет пар. – А ну, славяне, у кого полушубок лишний? – обращается девушка к раненым. – Тут тяжелого согреть надо.

– Бери мой, – слышится в темноте. – Все равно не надеть. Вот только рукав оторван.

Кто-то с забинтованным плечом подает ей полушубок. Катя заботливо укутывает им Юрку. Затем, проливая воду, поит его. Зубы Юрки тихо стучат по краю алюминиевого котелка. Напившись, он часто, тяжело дышит.

– Вот так... Теперь легче...

– Ну и хорошо, – говорит Катя. – Согрейся и усни. Сон лучше профессоров лечит.

– Ладно, спасибо... – шепчет Юрка, и его посиневшие веки устало смыкаются.

Катя поворачивается ко мне:

– А как нога, младшой? Ну-ка покажи. – Она решительно и бесцеремонно берет на колени мою беднягу ногу и ругается:

– И это называется повязка? Погляди, что тут у тебя делается!

Я и без того знаю, что там делается. Бинты мои раскисли от снега, сползли, размотались. Все там в крови, мокро. Болезненно-чуткая к твердым Катиным рукам, нога вдобавок ко всему, кажется, еще и обморожена. Пальцы вовсе онемели. Чтоб не растревлять себя ее видом, я, сжав зубы, отворачиваюсь. Напротив у стены сидит «мой» немец. Держится он тихо, несколько даже пугливо, с покорным выражением на лице. На его плечах все та же шинелка, на голове – козырчатая шапка. Обхватив руками колени, он будто бы дремлет. Его конвоир, заросший щетиной дядька, сидя возле порога, докуривает сигарку.

– Сороковочку оставь, браток, – просит кто-то из сумрака.

Боец еще раза два торопливо затягивается и, ступив между ранеными на полу, тянется к выставленной навстречу руке. Мои глаза уже начинают кое-что видеть в этой темноте. Среди бойцов я различаю на скамейке под окном вывезенного нами летчика. Он неподвижно лежит, словно неживой, под бинтами и только время от времени сдержанно стонет. Но стонут кругом. Тихих стонов, вздохов и охов тут полна хата.

– А ну назад! – сразу же раздается из-за стола команда Сахно. – Не забывайте, к кому приставлены!

Боец вяло оправдывается:

– Да не сбежит! Я же вижу.

– Плохо видите!..

В это время рядом со мной начинает шевелиться кто-то в полушубке с поднятым воротником. Кажется, он до сих пор дремал, прислонившись к стене, и теперь голосом, осипшим от сна, говорит:

– Не беспокойтесь. Я присмотрю.

Затем прокашливается и, будто самый настоящий немец, скороговоркой обращается к пленному. Это меня удивляет: гляди-ка, знает немецкий! На фронте не часто случается, чтобы красноармеец так складно говорил по-немецки. Пленный тихо что-то бормочет, и сосед, заметив мое любопытство, объясняет:

– Он говорит, что сам сдался в плен и обратно перебежать на собирается.

– Прижали, так сдался. А вообще я не спрашиваю, что он там говорит! – сухо обрывает его Сахно. – И вы бы лучше помолчали, лейтенант.

Лейтенант безобидно умолкает, а мою ногу вдруг пронзает острая боль. Невольно я вздрагиваю, и Катя незлобиво прикрикивает:

– А ну тихо! Что брыкаешься, как девочка?

– Ого! Так рванула!

– Ладно, выдержишь. А голова как? Ничего?

– Голова ничего, – говорю я, лишь бы не трогать раны.

Катя начинает туго забинтовывать стопу, и я снова поглядываю на лейтенанта, который не спеша свертывает сигарку. Он вызывает у меня интерес. То, что он так складно заговорил по-немецки, его тон и еще что-то, едва заметное в интонации голоса, выдают в нем интеллигента, командира, наверно, призванного из запаса. Эти люди всегда вызывают во мне уважение, так как есть в них что-то интересное и значительное, чего часто недостает кадровым. И хотя мне неловко теперь навязываться со знакомством, все же я спрашиваю:

– Вы не из сто одиннадцатой?

Лейтенант слюнявит сигарку и не очень сноровисто обрывает ее концы. Видно, что с самокрутками имеет дело недавно.

– Нет. Я из управления армии. Из газеты.

– Из редакции?

– Ну да. А что вас удивляет?

– Да так, ничего, – отвечаю я, несколько даже смутившись от такого знакомства. Мне еще не приходилось встречать журналистов, тем более на фронте, и я уже не могу скрыть моего любопытства к этому человеку. А он, кажется, безразличен ко всему тут. Сосредоточенно прикуривает от спички и смачно затягивается. Щеки его, колючие от густой черной щетины, кажутся болезненно запавшими. Тонкое, почти изможденное лицо выглядит худым и некрасивым. Хотя по званию этот человек почти ровня нам, по возрасту он старше нас лет на пятнадцать. Во взгляде Юрки я также ловлю слабенький огонек любопытства. Понятно, конечно: я помню, как Юрка рассказывал когда-то о своем намерении стать после войны журналистом.

Но лейтенант молча курит, и разговор у нас не вяжется.

– Ну вот и все, – говорит Катя, наконец обрывая бинт. – Береги рану, а то столько грязи набилось.

Она поглядывает на Юрку, но глаза у того уже закрыты, и девушка тихо, только мне одному сообщает:

– Слаб он. Смотреть надо. Чтоб ненароком не...

Я вздыхаю. Кажется мне, Юркины веки тихонько вздрагивают в темноте. Наверно, он чувствует наше внимание к себе.

– Ничего, как-нибудь.

– Сестра! Мне вот перевязать надо! – зовет кто-то Катю.

– Сперва мне. Я уже давно жду.

– Сейчас, сейчас, родненькие. Не всем сразу.

Катя пробирается меж людей дальше, а Юрка, заметно напрягаясь, чтобы сдержать стон, спрашивает:

– Что, пехоты у немцев много?

– Знаешь, пехоты не было, Юра. Если б пехота, нам бы не удержаться. А так с дюжину танков. Два подожгли.

Юрка раскрывает глаза и неподвижным взглядом уставляется куда-то в невысокий сумеречный потолок.

– Знаешь, десант – это сила. Если придется участвовать, старайся как можно... ближе подъехать. Главное... не спешить соскакать. Чем ближе к ним, тем... лучше. Я знаю...

– Ну конечно, – соглашаюсь я, хотя в танковом десанте еще не участвовал.

Но я вижу, как тяжело Юрке говорить, его запекшиеся губы едва шевелятся:

– Так... Дай воды... Жжет, холера...

Я приподнимаю его голову и наклоняю котелок. Юрка пьет маленькими частыми глотками.

– Плохо? Ты лежи. Молчи лучше.

Юрка страдальчески опускает веки и вздыхает:

– Теперь я не скоро. Кажись, долбануло как следует. Теперь поваляюсь. А когда будут машины?

– Машины? Будут, Юр... Ты потерпи немножко. Я слышал, там генерал обещал.

– Ну что ж... – терпеливо соглашается Юрка. – Что-то я хотел сказать?.. Будешь воевать... раздобудь «эмга сорок два». Не смотри... что немецкие. Это пулеметы... классные. Научишь ребят... Лучше станкачей будут. Патронов... в наступлении хватит. У меня четыре было. Подобрал...

Смысл его последних слов наводит меня на некоторые подозрения. Похоже, что он уже лишается надежды использовать свой опыт и хочет передать его мне.

– Хорошо, Юрка. Еще повоюем. И «дегтярями», и «эм-га». Не унывай, Юра.

– Та-ак! И еще – надо стрелять. В наступлении, а то... они нас изничтожают, а мы... Слабый огонь у нас. Стрелковый. Понимаешь? Слабина...

Он умолкает, и я не отзываюсь. Сдается, он засыпает. Я только внимательно всматриваюсь в его похудевшее за этот день лицо, которое неподвижно сереет на помятом сукне шинели. Мысль-сомнение точит меня: выберемся ли мы отсюда? Я-то кое-как креплюсь, а вот Юрка... Эх, Юрка, Юрка!..

Я начинаю прислушиваться к сдержанным разговорам в хате, к звукам снаружи. Теперь в таком нашем положении все осложняется. Я думаю, что раненых пора бы уже отправить в тыл, если бы была дорога. Но коли об этом пока никто не заботится, то, видно, действительно ходу отсюда нет. Тогда надо ждать. Только чегождемся?

За окном как-то сразу светлеет – это восходит луна. Край ее ярко врезается в стекло, подернутое слабым морозным узором. В хате становится виднее. Только в углах и под потолком еще сохраняется мрак.

Лейтенант у стены все же разговаривает с немцем. Я прислушиваюсь, и корреспондент, заметив это, сообщает:

– Он говорит, что вы его в плен взяли.

– Не взял. Только вел. Да не довел.

– Это почему?

– На танки наскочили. Было трое, один вот остался.

Лейтенант обращается к немцу с какой-то длинной фразой. Немец охотно и подробно отвечает. Из их разговора я понимаю только несколько слов: лерер, Бунцлау, ефрейтор. Лейтенант выслушивает и поворачивается ко мне:

– Его фамилия Энгель. Он сельский учитель из Силезии. А его камарад был нацист. Тот случайно попался в плен. Обычно такие не сдаются.

И они вполголоса переговариваются снова.

Я невольно затаиваю дыхание, надеясь услышать что-нибудь интересное. Правда, понимаю по-немецки не много, и мне трудно уловить смысл их быстрых, невыразительных фраз. Лейтенант при этом оживляется. Энгель отвечает коротко, нередко пожимая плечами.

Однако они упускают из вида Сахно, который не медля напоминает о себе.

– Лейтенант, подойдите сюда! – приказывает он из-за стола.

– Вы хотите мне что-то сообщить? – спрашивает лейтенант.

Но Сахно замолкает, и лейтенант, помедлив, неторопливо встает.

С минуту у стола происходит не очень приятное для обоих объяснение. И когда лейтенант возвращается на свое место, я догадываюсь по его виду, что разговора с немцем у него уже не будет. Лейтенант многозначительно вздыхает:

– Да, странная командировочка!.. Поехал за очерком о наступлении. Да вот так все обернулось, что сам на карандаш попал.

– А вы напишите и про это. Про все напишите.

Лейтенант двигает бровями:

– Про это не напишешь. Не тот материалчик.

Глава двадцать четвертая

В хате становится тихо...

Должно быть, я начинаю дремать, так как вдруг тревожно спохватываюсь, – кажется, что-то говорит Юрка. Действительно, он беспокойно мотает головой. Полушубок сбился с его груди, глаза закрыты. В тревоге я прикладываю ладонь к его лбу. Он сухой и пылает жаром. Юрка на мое прикосновение не реагирует.

В хате по-прежнему светло. Разговор, впрочем, утих, видно, раненые спят. Хоть вряд ли все спят – у порога шевелится конвоир. На неподвижном лице соседа-лейтенанта у стены напряженно раскрытые глаза, и в них знакомое мне беспокойство – чем все это обернется?

– Юр... Воды, а? На воды, Юра...

Юрка не отвечает, только мотает откинутой головой и лихорадочно дышит. В груди у него булькающий хрип, который слышится издали. На губах – отчаянно-тревожный шепот:

– Ну!.. Что ты? Мамочка!.. Не надо!.. Не надо... Ну что ты! Так!.. Иначе нельзя...

Я прислушиваюсь и понимаю: Юрка бредит. Это уже плохо, он без сознания.

– Почему ты не идешь?.. Оля!.. Оленька! Прости!.. Я все понимаю... Оленька!.. Мама!..

Конечно, это бред, но какое-то время я невольно стараюсь проникнуть в смысл бессвязных Юркиных слов. Только напрасно. Тогда я начинаю бояться, как бы с Юркой не случилось то самое худшее, что теперь так близко бродит возле него. И в это время отзвук новой беды доносится до нашей хаты.

Сначала кто-то будто спросонок, неуверенно замечает: «Гудят, а?» Занятый своей заботой, я не обращаю на то особенного внимания. Затем слух начинает различать знакомый высотный гул. Он быстро усиливается, и вот дощатый пол в хате вздрагивает от первых взрывов бомбежки. Правда, бомбят где-то далеко. Во всяком случае, не в этом селе. Но бомбят, слышно по всему, немцы. Кто-то, напустив в помещение холоду, выходит на улицу. За ним к двери пробирается второй. Сонное спокойствие в хате нарушается. По углам начинаются разговоры, кашель.

– Налетели коршуны проклятые. Теперь дадут прикурить.

– Хоть бы не сюда. Чтоб их черт!.. Страх не люблю бомбежек.

Кто их любит!..

И вдруг гул вверху прорывается близким обвальным грохотом. Где-то уже совсем близко (не на окраине ли села?) раскатисто гроыхают несколько бомбовых взрывов. Наш дом вздрагивает всеми четырьмя стенами. В углу с лязгом падает на пол пустой котелок.

– Дождались! – выпаливает кто-то, и по резкому обиженному голосу я узнаю нашего знакомого летчика. – Дождались, черт бы их побрал! Где начальство?! – почти в отчаянии выкрикивает он.

Но начальства нет. Мы все тут одинаково рядовые – раненые. И только Катя, как и всегда в таких случаях, грубовато прикрикивает:

– А ну все вниз! Прочь со скамеек. Все на пол!

Раненые неохотно слезают со столов, скамеек и размещаются на полу.

Я поглядываю в угол – за столом уже никого нет. Сахно, очевидно, где-то укрылся. И только на середине хаты – слабо освещенная луной фигура Кати в накинутах на плечи полушубке.

– Ложись, ложись! И чтоб тихо. Никакой паники.

Вблизи за селом начинается громовой грохот бомбежки. Взрывы один сильнее другого сотрясают ночь. Земля каждый раз вздрагивает. С потолка на наши головы что-то сыплется. Мы, затаив дыхание, жмемся к полу, вслушиваемся и напряженно ждем, когда же наконец кончится это проклятое испытание. Кто-то зло и гадко ругается. Кто-то тихо про себя стонет. На улице беготня и встревоженные редкие выкрики. А возле меня всем телом дрожит, бьется в горячке Юрка.

– Мам... Мамочка, стой! Не иди. Огонь... Куда он? Куда катится? Держите ж вы...

Над хатой тяжелый моторный вой. Кажется, с неба обрушивается что-то ужасающе огромное. Но оно проносится мимо, и ночь раскалывают два близких взрыва. Огненные вспышки в окнах на несколько секунд ослепляют нас. Кажется, разлетится вдребезги хата, и даже странно, когда через мгновение оказывается, что она стоит, как стояла. Только почему-то с запоздавшим скрипом открываются на крыльцо двери. Но это не от бомбы. Это в наше пристанище врывается какой-то боец.

– Эй, славяне! – запыхавшись, кричит он с порога. – На том конце немцы!

В хате на секунду все онемевает. Нас сковывает растерянность. Затем кто-то ругается:

– Погибать, что ли? В конце концов...

– Почему нас бросили? Где справедливость? Где забота о раненых?

– Тихо! Ти-хо! – прерывая шум, снова кричит Сахно. – Я запрещаю! Прекратить разговоры!

– Кто там запрещает? Ты вон запрети нас бросать! Где начальство? Давай начальство!

– Надо к начальству.

– Генерала сюда! – гудят встревоженные голоса.

Кто-то, хромая, быстро выходит из хаты. За ним к двери пробираются еще двое. На порог откуда-то из угла торопливо лезет сутулая фигура Сахно.

– Стой! Прекратить панику! Я приказываю!

Хата становится как разъяренный, растревоженный улей.

– При чем тут паника?

– Пошел ты...

– Нашлось пугало! Не таких видали!

– Ты начальство давай сюда!

– Давай транспорт! Нам тоже жить хочется.

Люди встают, кто может. Остальные лежат. Бомбежка, кажется, утихает. Гул удаляется. Видно, самолеты поворачивают назад. Зато усиливается пулеметная трескотня. Из раскрытой двери в хату ползут клубы холодного воздуха.

Негромко, по-мужски выругавшись, к выходу пробирается Катя.

– Нет, уж вчерашнего не будет! – говорит она. – Я скоро...

Девушка хочет выйти, но путь ей преграждает Сахно. Упершись ногой в косяк, он стоит в раскрытых дверях. В здоровой его руке пистолет.

– Назад!

– Ты что – очумел? А ну пусти! Я к начальству.

– Назад! – в каком-то остервенении кричит Сахно.

Катя вдруг с силой толкает его и, пригнувшись, шмыгает в дверь.

– Назад! Застрелю!

Он и в самом деле стреляет, неожиданно оглушая всех нас. У меня содрогается сердце: не сошел ли с ума этот законник? Рядом поднимается с пола лейтенант и взволнованно

обращается к разъяренному капитану:

– Послушайте, что за спектакль? Надо же доложить начальству. Надо подумать о раненых. Что вы уперлись?

– Молчать! Я приказываю замолчать!

Широко расставив ноги, Сахно серой неподвижной глыбой стоит в дверях. Пистолет его направлен в хату. Из раскрытой двери всюду валит морозная стужа.

– Ему лишь бы молчать! – зло бросает кто-то.

И в хате действительно умолкают. Кто знает, чего можно ждать от этого человека.

Сахно стоит так довольно долго, и мы все молчим. Только обожженный летчик сильнее, чем прежде, стонет под окном. Юрка стихает, но в груди у него что-то часто и мелко булькает. Я не могу сообразить, что делать с ним, если опять, как и утром, придется удирать из села. Не лучше ли уж сразу застрелить его и себя?.. Автоматные очереди за околицей то притихают, то снова густо рассыпаются в ночной тишине.

Но вот на улице слышится гомон. За окном – чьи-то торопливые шаги, там группа людей. Не за нами ли? Скрипит крыльцо, и луч фонарика упирается в фигуру Сахно.

– Тут кто?

– Тут раненые, – со злым недовольством отвечает Сахно. Однако с порога не сходит.

– А вы кто? Что вы тут делаете? – осветив пистолет в руке капитана, строго спрашивает командир.

– Я пресекаю панику! – все тем же тоном говорит Сахно.

– Панику?

– Так точно. Панику.

– Какую там панику! – рассудительно вставляет кто-то из темноты. – Нас в госпиталь надо. Тут тяжелораненые есть.

Неизвестный командир поворачивается к людям. Его сильный фонарик обегает сидящие и лежащие фигуры людей и останавливается. Повсюду – шинели, полушубки, бинты и ожидающие, настороженные лица.

– Я не уполномочен насчет эвакуации, – твердым голосом объявляет опоясанный ремнями человек. – Село обходят немцы. Полковник Гордеев приказал: всех в строй. Кто может – прощу за мной! Немедленно!

– Это другое дело, – после короткой паузы отзывается голос в углу.

– По-людски. А то пистолетом грозит...

– А ну выходи, кто может!

– Известно, выходи. А то всем крышка.

Из угла вскоре выбираются двое. Встает кто-то от порога. Вздохнув, нелегко поднимается лейтенант из редакции. Я не знаю, как быть. Неловко отставать от других и не хочется бросать Юрку. Чувствую, что без меня он погибнет. И проклятая нога опять остро разболелась на ночь.

– Стой! – будто спохватившись, кричит Сахно. – Майор, остановите людей. Тут непроверенный элемент.

Майор, который уже хотел было уйти, останавливается и коротко сверкает на Сахно фонариком.

– Какой элемент?

– Антинастроенный элемент. Тут разговоры...

– Да бросьте вы, капитан! Какие разговоры...

Майор выключает фонарик и исчезает на крыльце. За ним выходят четверо бойцов. Сахно несколько секунд удивленно стоит у двери, потом бросается за ними вдогон.

– Майор, вы будете отвечать! Я доложу полковнику Косову! – доносится уже снаружи.

Кто-то в хате снова ругается.

Лейтенант у стены не спеша готовится выйти. Сначала он тщательно отворачивает уши своей шапки. Потом достает из кармана трехпалые рукавицы и натягивает их на руки. Все его движения неестественно замедленны. Я вижу все и понимаю, как не хочется ему идти туда, откуда неизвестно еще, суждено ли будет вернуться. У его ног покорно сидит, ожидая чего-то, немец. Я в растерянности – что делать? Лейтенант бросает взгляд на меня, потом – на Юрку. И я думаю: если только он скажет «пойдем!» – я встану. Но он аккуратно заправляет рукавицы и коротко улыбается в полумраке:

– Ну, счастливо оставаться. Желаю как-нибудь выбраться отсюда.

– До свидания! – говорю я, растроганный. Не знаю почему, но в душе моей незаметно созрело неосознанное еще расположение к этому человеку. И теперь, когда он уходит туда, мне оставаться здесь более чем неловко. Наверно, чтобы смягчить эту неловкость, я предлагаю: – Возьмите мой карабин.

– Нет, спасибо. У меня пистолет, – трогает он кирзовую кобуру на ремне. – Впрочем, все равно. Там танки.

Затем, переступив через мою ногу, выходит в раскрытую дверь на залитый лунным светом двор. Я же остаюсь, мучительно раздумывая над невеселым смыслом его последних слов. В хате становится тоскливо и пусто.

Ясное дело, не первый раз – каждый день вот так навсегда уходят люди. Друзья, малознакомые и вовсе не знакомые. Уходят, чем-то задев душу и оставив в ней свой не всегда понятный нам след. Многие больше не возвращаются в нашу жизнь, и среди них – славные, так себе, а то и плохие. И нам невдомек порой, что все они известным образом формируют нас, нередко вопреки нашей воле лепят наши характеры, наши человеческие качества. Ушел вот и Сахно, и как-то сразу наступило облегчение – ну и человек! А с лейтенантом я не хотел бы никогда разлучаться. Хотя и вовсе не знаю его.

Юрка, что мне делать с тобой? Неужели нам не выбраться из этого водоворота, в который нас так неожиданно втянула война? Неужели я так и не уберегу тебя? И где же это наша спасительница Катя, что-то уж больно долго она задерживается. А может, оставила нас? Действительно, кто мы ей? Случайные спутники. Зачем ей погибать с нами?

В хате становится просторно и холодно. На полу лежат одни тяжелораненые. У порога на прежнем месте, кутаясь в шинель, сидит немец. Конвоира возле него уже нет. Исчез Сахно, видно, сбежал и конвоир. А немец не убегает. Съежился и чего-то ждет, забытый и покинутый бедолага пленный, до которого тут никому нет дела. Под окном в каком-то нервном пароксизме дрожит обожженный летчик. Я подтыкаю под Юрку края полушубка и на коленях подползаю к нему. Хоть, по правде говоря, этот крикун уже изрядно и надоел нам. Но и ему не сладко.

– Как вы? Может, помочь чем?

– Да. Ты должен помочь! – быстро и настойчиво просит летчик. – Друг! Не дай погибнуть. Меня командующий знает. Я к Герою представлен. Ты должен связаться с командующим. Ты понимаешь?

– Как тут с ним свяжешься?

– Ты должен связаться. Или пусть выделят танк. Пусть отвезут меня в танке. Я не должен

погибнуть...

Нет, это не то. Это слишком банально. Он боится погибнуть! Будто остальным тут безразлично: жить или умереть. Как будто оттого, что он представлен к Герою, его жизнь возымела большую ценность. А Юрка представлен к «Отечественной». Так что же ему – погибать? Сочувствие к летчику вдруг сменяется во мне досадой. Дает же Бог таких вот людей!

– Друг, ты понимаешь? Иначе я погибну. Ты слышишь?

Да, я слышу. Но я возвращаюсь к Юрке, так как не хочу его утешать. У самого от тоскливого предчувствия замирает сердце. За околицей вовсю гремит бой – и танковые выстрелы, и автоматы. Я чувствую: будет плохо! Хотя бы вернулась Катя, с ней как-то спокойнее. Мы уже привыкли за эти сутки к ее грубоватой заботе о нас. Я удивляюсь: действительно, только одни сутки как я встретил ее, а кажется, знаю давно. Странно, она некрасивая, резкая, а в общем, такая прямая и надежная. Видимо, на войне это главное.

Я прислоняюсь спиной к стене возле Юрки. Вслушиваюсь в трескотню боя и начинаю ждать Катю. Вскоре кто-то взбегаёт на крыльцо, потом шарит рукой по двери. Я уже готов обрадоваться, но вместо Кати на пороге появляется Сахно.

– Так. Кто днем был на высоте? – сухо спрашивает он тоном командира, который получил незаслуженный нагоняй от начальства.

Люди в хате настороженно умеряют стон.

– Я спрашиваю: кто оборонял высоту?

– Какую высоту? – спрашивает кто-то с обвязанной, в шинах, рукой. – Ту, где танки?

– Да. Ту.

– Ну и я оборонял. А что?

– Фамилия? – настойчиво спрашивает Сахно.

– А зачем? Орден дадите, что ли? – совсем не в тон капитану шутит раненый. – Цвиркун, ну?

– Как?

– Ефрейтор Цвиркун.

– Младший лейтенант Василевич, записывайте! – приказывает мне Сахно.

Не хватало забот, думаю я. У самого рука подвязана, так он заставляет меня. И откуда его пригнало на наши головы? В оборону, гляди ты, не пошел, а снова что-то расследует. Кого-то уже подозревает и обвиняет. Тоже воюет!

– Еще кто? – снова спрашивает и ждет ответа Сахно. Но больше, кажется, защитников того бугра тут нет. Все, недобро понурившись, молчат.

– А вы, Василевич, там не были? – вдруг поворачивается ко мне Сахно.

– Ну был. А что?

– Почему скрываете? Записывайте и себя.

– Я и так не забуду.

– Вы все помните, да? А где старшина Евсюков? – вдруг многозначительно спрашивает Сахно. – Вы же, кажется, вместе были?

– Вместе. Да тут разошлись. В селе.

Все напряженно молчат, глядя на капитана. Он также молчит, о чем-то соображая. Становится тихо, и в этой тишине появляются новые звуки. Где-то по улице идут танки. Их грохот придвигается все ближе и ближе... Хоть бы свои, не немецкие! Но если и наши, то куда они идут?

– А что, капитан, случилось?

– Что случилось? – введливо переспрашивает Сахно. – Не знаете, что случилось? Оборону бросили, вот что случилось!

Ну ясно, где-то неполадки, кто-то проворонил, и теперь ищут виноватого, стрелочника – Евсюкова. Но при чем тут Евсюков?

Заглушая грохотом недалекую беспорядочную стрельбу, мимо окон проносится один танк, затем второй. Кто-то в шапке с растопыренными ушами ползет к подоконнику и всматривается в светловатое, тронутое морозцем стекло. Первые танки, слышно, отдаляются. Но с другого конца села снова нарастает грохот.

– Вот тебе, кума, и Юрьев день! – громко говорит от окна боец. – Танки-то уходят.

– Как уходят?

– Куда уходят?

И вдруг с обмершим сердцем я также бросаюсь к окну. Действительно, наполняя село грохотом, несколько танков быстро катятся по улице. Их броня густо облеплена серыми тенями автоматчиков.

Сахно, вдруг забыв про нас, молча выскакивает во двор. Я подползаю к Юрке. Что же это делается? Я начинаю тормошить друга, думая, может, очнется, иначе как бы не угодить в новую западню. Раненые торопливо один за одним выползают из хаты. Кто со стоном, а кто и молча. Теперь бы только на улицу, на которой последняя возможность спастись.

– Ох, братцы! Добейте, братцы, – глухо стонет кто-то в углу. – Лейтенант, браток! Сделай одолжение...

На улице бегут люди, фыркают танки. У них свои заботы, свои боевые задачи, что им раненые? Летчик, ругаясь, встает на колени и слепо ползет к выходу. В это время в углу раздается выстрел, и глухой стон там обрывается. «Так лучше», – говорит кто-то, и больше на выстрел в хате уже не обращают внимания. Сам или его кто-нибудь? – не могу понять я. Снаружи подлетает под самые окна и, очевидно, останавливается танк. Грохот его сразу затихает. Кажется, следом останавливается еще один. Вот бы успеть, может, возьмут...

Кое-как надев на Юрку полушубок, я укутываю им друга, затем хватаю его, чтоб тащить в дверь. И тут в хату врывается разгоряченная Катя. Я едва не вскрикиваю от радости, сразу почувствовав: это за нами! И действительно, Катя громко выпаливает:

– А ну – на машины! Быстро! Кто сам не может – крикни!

«Поторопился!» – с сожалением мелькает в сознании о том несчастливце в углу, и я тут же забываю о нем. Я подхватываю Юрку под мышки, немец услужливо поднимает его за ноги. Катя нам уступает дорогу и сама бросается к летчику, который копошится у порога. Мы вытягиваем Юрку на двор и там натываемся на высокого и неуклюже толстого командира в комбинезоне и танковом шлеме. С шутливой легкостью он притоптывает валенками и хлопает рукавицами.

– Живее, орлы! Поторопитесь, всаднички! А то коники остынут. А ну, давай подсоблю.

И подхватывает за полушубок Юрку. К нему подсакивает второй в шлеме: «Товарищ подполковник, дайте я!» Они вдвоем принимают из моих рук Юрку. И я чувствую щемящую благодарность к этому подполковнику. Какой молодец, остановил для раненых танки! Но, видно, это постаралась Катя? Они вдвоем с помощью немца взволакивают Юрку на броню танка, следом, неуклюже цепляясь за боковой трос, взбираюсь я. А подполковник легко соскакивает, чтобы помочь Кате.

– Давай этого туда, на тройку. Эй, герой, подсоби! – обращается он к немцу.

Тот сквозь шум малых оборотов мотора не слышит или не понимает. Стоит внизу возле танка, видимо не зная, можно ли ему сюда взлезть. И тут между танков откуда-то появляется Сахно.

– Товарищ подполковник, немца надо ликвидировать. Немедленно!

Подполковник, неся с Катей раненого, удивленно вскидывает голову. Сахно тем временем расстегивает кобуру. Он уже уверен, что подполковник не возразит. Его самонадеянность отзывается во мне бешенством. Не от жалости к немцу, а чтобы досадить Сахно, я кричу:

– Не слушайте! Товарищ подполковник... Это «язык». Его к генералу приказано доставить.

– Какому генералу? – недоуменно спрашивает подполковник и тут же машет рукой: – Пусть едет, черт с ним. Шлепнуть успеете.

«Ага, выкуси!» – злорадно думаю я и кричу немцу:

– Ком! Быстро!

Сахно, вижу, хочет возразить, но танкисты спешат. Башенный люк за моей спиной, лязгнув, закрывается. Оба танка, лихо заурчав, увеличивают число оборотов, и Сахно, сдвинув кобуру, бросается к нам на броню.

– Ты имей в виду: сбежит – под трибунал загремишь! – взобравшись, кричит он мне в самое ухо.

«Пошел ты к чертовой матери!» – с ненавистью думаю я.

Глава двадцать пятая

Убивая время, мы с ленивым наслаждением пьем пиво. Горбатюк разделся и сидит в светлой шелковой тенниске. Пиджак он повесил на спинку стула, ему душно. С моих плеч, кажется, спадает гора. Он – не Сахно. Совсем другой характер, другое отношение к людям. Да и вид окончательно не тот. Я все удивляюсь: какая нечистая сила ослепила меня тогда, не дала понять, что я ошибаюсь? Ведь это совсем другой человек.

Людей в ресторане становится меньше. Некоторые столики вовсе освободились, и официантки сметают скатерти. Наши молодые соседи все еще сидят, живо переговариваясь между собой. На столе у них три порожних бутылки с ободранной фольгой. Горбатюк ворочается, сопит, облакачивается на спинку стула и с блаженной сытостью осматривает зал. Насколько это можно понять за вечер, он немножко с гонорком, но вообще простой, добродушный дядька.

– Знаете, а я вас принял за другого, – искренне признаюсь я. – За одного сволочного человека. С фронта еще.

Горбатюк понимающе улыбается:

– За какого-нибудь предателя?

– Да нет, он не предатель.

– Трус?

– И не трус. Иногда он даже был смелым. И другим трусить не давал.

– Строгий, значит?

– Строгий – не то слово. Скорее жестокий.

Горбатюк поворачивается к столу:

– Ну, на войне жестокость – не грех.

– Возможно. Но не настолько, чтобы добивать раненых?

– При отступлении?

– В окружении.

– Как сказать. А если бы они в плен попали? На этот счет, дорогой мой, был приказ Сталина. Ничего не попишешь. Тут уж он выполнял приказ.

Как-то мы теряем взаимопонимание. Похоже, он со мной не согласен. Но это недоразумение. Как бы ему лучше объяснить, что тут не просто выполнение приказа. Тут другое. А Горбатюк тем временем снисходительно ухмыляется: в нашем маленьком споре он чувствует свое превосходство. С этой ухмылкой он доликает в фужеры пива – сначала в мой, а потом в свой – и придвигается ко мне поближе.

– Я тебе скажу по собственному опыту. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира больше, чем немца, – многозначительно сообщает он и ребром ладони бьет по столу. – У такого командира все: и задача выполнена, и грудь в орденах.

– А люди?

– Что люди?

– А люди – в могилах?

Горбатюк недоуменно моргает глазами и ерзает на стуле. Видно по всему, мой вопрос застает его врасплох. Где у такого командира люди – он о том не подумал.

– Ну, знаешь... На войне с этим не считаются.

Ну и ну! Что-то я вообще перестаю его понимать. Этот танкист начинает меня удивлять. Я

давно уже не слышал подобных высказываний. Просто нелепо слышать такое от фронтовика в наше время.

Горбатюк между тем залпом выпивает пиво и снова наклоняется ко мне:

– Слушай сюда! Вот ты говоришь: люди, люди. Помню такой случай. Под Витебском судили одного. Молодой такой Ванька-взводный. Скороиспеченный лейтенантик. Вел батарею. Отступали. Впереди речушка. Надо найти брод. Ему бы, дурню, послать кого-нибудь. А он пожалел: тот ранен, тот болен, тот стар, а тот плавать не умеет. Ну и пошел сам с ординарцем. Брод нашел, перебрался на другую сторону. А там немцы. Ну и сцапали. Раненого. А у него карта. И маршрут. В батарее же ни одного командира. Так и накрылась батареечка. Лейтенант, правда, вырвался из плена, через неделю приходит. Тут, конечно, и погорел. А как же? Пожалел людей.

– Просто он дурак, этот лейтенант.

– Вот именно – дурак, – добродушно соглашается Горбатюк. – Или вот другой пример. Судили командира танка. Выскочил с экипажем раньше, чем подбили машину. Ударила болванка, ну он и скомандовал: покинуть машину! На суде говорит: экипаж пожалел. Видишь ли, был уверен, что вторым выстрелом его подожгут. «Тигр» стрелял. Поджег действительно. А лейтенант прямо из танка в штрафную загремел.

Горбатюк сладко затягивается сигаретой. Неожиданная догадка заставляет меня вздрогнуть.

– А вы не прокурором были?

Он почему-то оглядывается и прищуривает в дыму один глаз.

– Председателем трибунала.

Мне кажется, я недослышал.

– Чего?

– Военного трибунала, – тихо, но выразительно повторяет Горбатюк.

Я не знаю, что сказать дальше, и медленно перевожу взгляд на стол. Теперь все понятно. Теперь мне его рассуждения знакомы, как дважды два. Как это ни удивительно, но за двадцать лет они не изменились. Менялись люди, происходили революции, человечество прорвалось в космос, освободило внутриатомную энергию. А те установки, вдолбленные в сознание их исполнителей, видно, стали их убеждениями. Конечно, сейчас они не распинаются о них на каждом углу, но вот, оказывается, и не стыдятся. Попался же мне фронтовичек!

Горбатюк, наверно, замечает мою короткую растерянность и отчужденно хмурит брови.

– А что это вы так... удивляетесь?

– Да так.

Обеими руками я поворачиваю на скатерти фужер, бессмысленно разглядывая, как переливаются на его гранях искристые отражения бра.

Горбатюк с каким-то предостережением оглядывается на молодежный стол и вздыхает:

– Ты, наверно, думаешь: трибунал – это сплошное нарушение законности? Теперь так модно считать. Модно реабилитировать. Модно валить все на судей. И никто не задумается: во имя чего они все то делали? Распутывали преступления, не спали, недоедали, мотались по передовым, попадали под бомбежку. Во имя чего?

Однако деланный его запал меня не трогает.

– Может, во имя победы? – спрашиваю я с иронией.

– А как же? Ты что думаешь, в ней нет и нашего вклада?

Недавнее мое расположение к нему начисто исчезает.

Я не знаю, что он за человек и каким был председателем трибунала. Но я чувствую, что эта его горячность имеет свои корни. Он явно чем-то обижен, с чем-то не согласен и уже готов спорить, отстаивая свою непонятную мне правду.

Но я с ним спорить не буду.

Я не хочу с ним спорить, так как отказываю ему в этой его правде. Не может быть его правды там, где есть его перед людьми вина. В моих чувствах и памяти до сих пор живет немало несправедливо-обидного из тех давних времен, в которые неплохо хозяйничали такие вот председатели трибуналов. Не забылось, как ушли из полка и не вернулись ребята за сдачу позиций, которые невозможно было удержать, за неисполнение невыполнимых приказов, за стычки с начальством и за так называемые недозволенные разговоры тоже. Я помню, наконец, старшего лейтенанта Кротова, который на счастье свое или на беду не дошел до рук такого вот председателя. И за что? Я-то знаю, что ни за что, но это вовсе не означает, что Кротов вернулся бы назад, в батальон. Так неужели теперь, через много лет после войны, когда столько перевернулось в общественной жизни страны, неужели не коснулось этих людей чувство вины или хотя бы угрызения совести?

Я хочу спросить его об этом, но Горбатюк опережает меня.

– А я и не думаю скрывать, кто я и что я, – с заметным отчуждением говорит он. – Я поступал согласно закону. Если что – можно поднять архивы. Там все налицо. Оформлено и утверждено. Я грехов за собой не чувствую. Можно справиться у сослуживцев, начальства. Я не прохвост какой-нибудь. Бывало, приеду в полк – почет и уважение. Командир полка первым честь отдает. Хоть я капитан, а он подполковник. Вот как!

Я молчу. Он, чувствую, однако, волнуется: то ерзает на стуле, то откидывается на спинку. На его мясистом лице – выражение обидчивой замкнутости.

– Война – не мать родная. Там твердая рука нужна. На смерть никому не хочется идти. А что же – сознательность? Сознательность – в газетах, а тут принудить надо. Чтоб боялись.

– Слушайте, Горбатюк! А не могло так случиться, что кто-нибудь из осужденных вами сейчас реабилитирован?

Горбатюк делает наивные глаза:

– Ну и что ж! Вполне естественно. Реабилитирован – и с Богом. Я всецело одобряю и поддерживаю.

– А вы не боитесь с таким вот на улице встретиться?

Горбатюк бросает на меня настороженный взгляд и, кажется, искренне удивляется:

– А чего мне бояться? При чем тут я? Тогда были одни законы, теперь – другие. – Он оглядывает зал и добавляет уже спокойнее: – Да и не встретятся. Еще не встречались.

– Что, разве всех – к высшей?

– Почему всех? Не всех. Разбирались, – говорит он и засовывает руки в карманы брюк. В глазах его появляется выражение нагловатой самоуверенности, он смотрит на меня почти враждебно.

Да, это его успокаивает. Не вернутся. Все сделано чисто. Все по правилам оформлено, утверждено. Осужденные не угрожают, совесть не грызет. А за все подлое и противозаконное пусть отвечает Берия.

Горбатюк встает и, отодвинув штору, решительно открывает окно. Широкий поток прохлады врывается в зал. Через минуту становится довольно холодно, и он надевает темный в мелкую клеточку пиджак с очками и двумя авторучками в нагрудном кармане. Он

замкнут, однако мысленно, так же как и я, видно, продолжает наш не очень приятный разговор.

– Нет, дорогой, ошибаешься. Это теперь развели демократию. Готовы всех сволочей реабилитировать. Презумпция невиновности! Доказательства! Болтовня все это. Если что, он тебе так все перекрутит, что хоть ты его награждай. Тут нужно чутье иметь. Нюх. Правда, у меня глаз был наметан. Я, бывало, на такого взгляну – и насквозь вижу. Доказательства – десятое дело. Доказательства, если понадобятся, на каждого можно составить.

От соседнего стола встает плечистый, в серой куртке блондин:

– Окошко можно закрыть? Девчата просят.

Горбатюк резко поворачивается и недоуменно смотрит на парня. Тот широким жестом захлопывает фрамугу.

– А ну откройте! – мрачно приказывает Горбатюк и встает.

Блондин подходит к своему столу, и Горбатюк широко распахивает окно.

– Не вы открывали, без вас и закроют.

На лице у парня короткая растерянность. В его серых живых глазах вспыхивает острый огонек.

– Девчата замерзли! Вы понимаете?

– Замерзли – пусть дома сидят. В ресторан, как и в монастырь, со своим уставом не ходят.

– Ну, знаете!..

Сделав почти фехтовальный выпад, парень с треском захлопывает окно. Горбатюк резким рывком его открывает. Молодежь за столом оборачивается в их сторону.

– Игорь, хватит! Нам уже не холодно.

– Игорь! Игорь! Оставь ты. Мы сейчас пойдем! – вскочив, зовет друга Эрн.

Игорь сквозь зубы бросает что-то оскорбительное и возвращается за свой стол. Горбатюк, удушливо сопя, садится на место. Хватается за сигарету. Руки у него дрожат.

– Видел? – кивает он мне. – Видел, что делается? Пацан, молоко на губах не обсохло, а гляди ты! Нахальство какое!

Он прикуривает, бросает на пол спичку, на стол – коробку.

– Распустились, умники. Как те в войну. Старший который, так помалкивает или просит дать искупить вину в бою. А попадетсЯ лейтенант, только из училища, на губе пушок, а уже философию разводит. Как же – десятилетку закончил! То оружие ему не нравится. То приказ неправильный. Наглецы!..

Я поглядываю на его заметно помятое жизнью лицо, морщинистую короткую шею. В глубоко упрятанных под бровями глазах зло поблескивает что-то, не то испуганное, не то нагловатое. Отражение какой-то затаенной мысли блуждает в их глубине. Я не хочу думать об этом человеке предвзято. Но я не вижу в нем и того, что хотелось бы видеть, – ни тени сожаления, раскаяния, отражения передуманного и пережитого. Передо мной с обиженным видом сидит обозленный мужчина, который не намерен ни в чем отступить. И от этого его упрямства у меня потихоньку накипает гнев. С усилием я борюсь с собой. Надо быть спокойным. Мое оружие теперь – только логика, она мне послужит верно, ибо я – прав.

– Скажите, Горбатюк! А вы убили на войне хоть одного фашиста? – спрашиваю я спокойно, насколько мне это удается.

– Я? А зачем? Зачем мне их было убивать? Это не мое дело. В двадцатое столетие – полное разделение труда. В том числе и на войне. Кому бежать в атаку, кому стрелять из

пушки. Кому летать в небе. А другой всю войну просидел за столом в штабах или варил сталь. У каждого свое дело.

– Ваше было – судить.

– Ну и что ж? Судил.

– Несчастных за плен? Командиров – за невзятие высот и деревень? Лейтенантов – за разговоры. За выдуманный контакт с врагом? За ночлег в одной деревне?

Я почти кричу. Что-то в моем поведении его, видимо, насторожило. Он оглядывается и кривит в гримасе губы:

– Случалось. Судили и за это.

– А теперь вы не раскаиваетесь?

Он вскидывает голову. В глазах его ненависть.

– В чем?

Мы уже оба кричим. За соседним столом оборачиваются в нашу сторону. В другом ряду оглядываются офицеры. А перед моими глазами – снова чадный туман. Я вскакиваю из-за стола. Он откидывается на стуле. Сердце мое делает несколько пропусков, затем судорожных сильных ударов. В груди знакомая пустота и слабость. Зал шатается. Я хватаюсь за грудь и, задевая стулья, торопливо шагаю к выходу.

Возле швейцара одеваются двое молодых. Он бережно прикрывает ее плечи плащом. Она нежно улыбается в трюмо, и я падаю рядом на стул. Пол плывет из-под ног, стены шатаются. Сердце редкими, сильными ударами бьется в груди.

Старый швейцар облакачивается на стойку и с презрительным осуждением смотрит на меня. Я понимаю его молчаливый упрек и думаю: как глупо все это! И отвратительно. Не хватает разве свалиться и оказаться в больнице. Скажут, от перепоя.

– У вас, случайно, валидола нет?

Швейцар, прежде чем ответить, вздыхает.

– Зачем он тут мне? Ресторан – не больница, – ворчит он. – Надо пить, да знать меру.

– Не в питье дело, отец. Вот... понервничал.

– Нервы! Теперь все нервные стали, – смягчаясь, ворчит старик и направляется в угол. Вряд ли он верит мне, но все же возвращается к стойке с какой-то бумажкой. Неторопливо разворачивает ее и прокуренными до желтизны пальцами достает беленький круглячок таблетки.

– Что это?

– А ты глотни. Поможет, если что...

Подумав, я глотаю таблетку. Во рту остается неприятный металлический привкус.

– Ну как? – спрашивает он спустя некоторое время.

– Немного проходит. Сердце, знаете...

– Эх, сердце, сердце! – с мудрой старческой рассудительностью ворчит швейцар. – Сердце, оно – мотор. Испортилось – и с ног долой. Не бережете вы, молодые, сердца.

– Не такое время, чтобы беречь.

– Не такое? А какое же вам еще нужно время? Деньги есть, квартиры государство дает. Должности. Почет. Что вам еще надо? Какого рожна не хватает? Мы, бывало, в ваши годы – лишь бы поесть вволю. А вы?

– Видите ли, к еде вволю хочется еще и справедливости.

– Справедливости? – с иронией переспрашивает швейцар и упирается в меня маловыразительным взглядом выцветших, немало повидавших на веку глаз. – Вон побледнел

как. В поту. Вот тебе и справедливость. Ты возле окна сядь. На ветерке лучше будет.

Я пересаживаюсь к окну. Фрамуга немного приоткрыта. Ночной ветер шевелит занавеску. За окном где-то неподалеку на путях сипло пыхтит паровозик. На запасных – длинные составы зеленых вагонов. Несколько женщин со шлангом моют их блестящие железные бока. На виадуке торопятся редкие пешеходы. По ту сторону станции светится длинный ряд уличных фонарей. Где-то далеко одиноким угольком в небе горит красный сигнал на заводской трубе.

Глава двадцать шестая

Залитая лунным сиянием степь. Грохот танков, смрад от двигателей, колючий ветер в лицо и – тепло. Да, тепло. Правда, греет больше у ног, где поддувает нефтяным духом сквозь жалюзи. И все же рай! Надо только держаться, чтоб не свалиться от мягкой, но размашистой танковой качки.

И мы держимся за башню, вцепившись в ее настывшие поручни. На моих коленях лежит голова Юрки. Я одной рукой придерживаю ее; немец же, пристроившись сбоку, занят собственными заботами и безразличен ко всем нам. Возле него, у самой башни, сидит Сахно. На боках и закрылках танка какие-то ящики (наверно, снаряды), рядом со мной скользкое окоренное бревно. Следом грохочет второй танк. Там Катя. Ее плотная фигурка едва высовывается из-за башни. Кажется, нам наконец повезло – теперь-то уж вырвемся.

Но мы несколько отстали от головной колонны и быстро нагоняем ее. Морозный ветер обжигает лица. Небо вверху ярко сверкает мириадами звезд, и в их гущине во всю силу светит луна. Резкие синие тени от придорожных столбов перечеркивают обе колеи. Вокруг видно далеко-далеко. Позади остались немцы – на горизонте то и дело взлетают в ночь стремительные молнии трасс. Там бой. Там те, что по приказу полковника остались на буфе, чтобы дать нам возможность вырваться из беды. Только куда? Кажется, мы едем дальше на запад, не в свой тыл, а туда – глубже, в немецкий.

Это, конечно, не очень радует. Но я не хочу думать плохо. Там, впереди, – войска, мощь боевых частей, начальство, там не дадут пропасть. Правда, сзади, пожалуй, не отстанут от нас и немцы. Им, окруженным, также надо прорываться туда, на запад.

Я отворачиваюсь от встречного ветра, глубже в воротник втягиваю забинтованную голову. Но в таком положении мешает за спиной карабин. Я снимаю его и с тоской в душе вглядываюсь в далекие приметы боя, что сверкают в ночной тишине. Только мы все же отдаляемся от того злополучного села. Мощно ревя на подъеме, танки обходят степную балку, проскакивают клин полегшего, не убранного осенью подсолнуха. Искры-трассеры вдали постепенно исчезают, лишь изредка короткая очередь невысоко взлетит над горизонтом и тут же погаснет. Кругом спокойно, и все было бы хорошо, если б не Юрка. Он без сознания. Я плотнее прикрываю его полушубком. Тело его кажется неуклюжим и длинным, сапоги едва не достают выхлопных труб. В качке того и жди – может сползти и свалиться в снег. Хоть бы живым довести его до какого-нибудь санбата. Хоть бы успеть! Наш танк нагоняет колонну машин, качка и толчки становятся умереннее.

Неожиданно ко мне наклоняется и что-то говорит Сахно.

– Что?

– Говорю, приедем, пойдете со мной! – громче кричит он прямо в лицо.

– Куда?

– Неважно. Куда прикажу.

Вот тебе и радость! Не успели вырваться из одной беды, как в перспективе маячит новая. И странное дело – эти скупые слова Сахно впечатляют тут куда больше, чем все его угрозы там, под носом у немцев. Тут он – сила, а я – маленький винтик, тут уже не пошлешь его куда не следует – должен подчиняться.

Я сию, прислонившись плечом к шершавому боку башни, и поглядываю в заросли подсолнуха, что снова обступают дорогу. Напряжение мое спадает, и я чувствую себя

совершенно измотанным за эти сутки. Ноги согрелись, и в раненой стопе будто шевелятся муравьи: зашласть или отходит – не сразу и поймешь. Зато чертовски мерзнет рука на башне. Я хочу погреть ее за пазухой, но не успеваю расстегнуть крючок шинели, как громовой взрыв раскалывает землю. Танк становится на дыбы и на мгновение словно зависает в воздухе. Какая-то бешеная сила подхватывает меня с брони и швыряет в снежную пропасть.

В первую секунду я не понимаю, что произошло, и, только почувствовав под собой землю, догадываюсь: мина?! Затем, выплюнув изо рта хлопья снега, вскакиваю среди стеблей подсолнуха на колени и снова падаю... На дороге, сбоку от нее и еще где-то впереди ночную тьму разрывают огненно-красные взрывы.

Гр-р-р-рах! Гр-рах! Грах-х-х-х!..

Нет, это не мина... Но тогда что? Откуда? Почему? В горячке я никак не могу чего-то сообразить. Я только чувствую: влопались! Снова в следующее мгновение меня пронизывают страх за Юрку. Спотыкаясь о комья, я бросаюсь к танку. Он стоит наискось дороги. На башне живо мелькает чья-то фигура – кто-то будто выскакивает через люк. И вдруг в трехсекундную паузу до слуха моего доносится тяжелый, густой гул.

Бомбежка...

Худшего не придумаешь! Такая светлая ночь. В снежной степи видна каждая былинка, а тут, на дороге, – танки. Хотя – ясное дело, чего еще было ждать? На что надеяться? Все очень просто, иначе и не могло случиться...

В тревоге я добегаю до танка. Обсыпанный снегом, он все же уцелел. Сверху на прежнем месте раскинутые ноги Юрки. «Неживой!» – пугаюсь я и бросаюсь к борту, чтобы залезть наверх, но тут же едва не падаю, споткнувшись о немца. Тот корчится на земле, прижавшись к опорным каткам, обхватив голову руками. Будто на мертвеца, наступив на его спину, я взваливаю грудь на танк.

Вверху опять обвальный грохот и визг. Но в звездной черноте неба решительно ничего не видно. Я ужасаюсь, что не успею, и глупо кричу немцу:

– Фриц! Фриц!..

Он понимает и сразу же вскакивает. Я хватаю за плечи Юрку. Немец, протянув снизу длинные руки, принимает на них Юркино тело. Оба они сразу же падают на снег. Землю сотрясают мощные бомбовые взрывы. Я не успеваю соскочить с танка, как самый ближний из них швыряет меня в яркую, на полнеба огненную бездну, и я оказываюсь где-то в снегу. Однако тут же чувствую: цел и на этот раз. Сразу вскакиваю на четвереньки. Только почему-то ничего не вижу – ни танка, ни Юрки. В глазах багровая слепота, заслонившая собой весь мир. На минуту я вовсе теряюсь, не понимая, что со мной и где я.

Руками отчаянно гребу снег, хватаюсь за мерзлые стебли, куда-то ползу. В рукавах до локтей снег, снег и за воротником, в ушах...

Новые взрывы снова укладывают меня ничком. Снежным пластом заваливает спину, голову, ноги. Но я жив и снова вскакиваю на колени. Ничего не видя, верчусь на снегу меж взрывами, не зная, куда податься. И вдруг из темноты прорезывается что-то яркое и острое – какой-то огонь... Ага: это горит танк. Нет, не наш, дальше на дороге. Багровый мрак перед моими глазами постепенно редет. Я вижу забросанный землей снег, черное небо и знакомый силуэт нашего танка. С внезапным облегчением бросаюсь к двум ближним фигурам – к немцу и распластанному на дороге Юрке.

Юрка лежит на боку. Я запахиваю на нем полы шинели и рывком передвигаю его отяжелевшее тело ближе к гусенице. Потом, припав к нему, переживаю новую серию

взрывов. Они продолжают вечно. Я жду, подавив в себе все чувства – и страх, и надежду, призвав на помощь только одно – выдержку. И взрывы, даже не верится, будто стихают. Задыхаясь от тротиловой вони, я несколько секунд жадно хватаю ртом воздух и жду нового визга. Но его почему-то нет. Пауза увеличивается, в ушах усиливается звон. Я не могу сообразить – то ли это тишина, то ли я оглох... Но вот впереди доносятся неясные голоса, брань – кажется, там что-то кричат или, может, командуют. Танк рядом, словно живое существо, вздрагивает. Ехать?

Я вскрикиваю. Немец сноровисто вскакивает на танк. Напрягшись изо всех сил, я поднимаю Юрку. Немец с натугой взволакивает его за воротник на броню.

И тут танк, резко взревев мотором, срывается с места.

Обида и злость, свившись в клубок, однако, придают мне силы. Танк проскакивает мимо, но я в последнее мгновение бросаюсь сзади в горячие струи его выхлопов. К счастью, под руки попадает петля троса, и я хватаюсь за нее. Но она вдруг подается и вытягивается. Я тяжело сползаю с брони и какое-то время отчаянно волочусь в дымной трескотне выхлопов. Я хочу крикнуть, но в грохоте дизеля не слышу даже своего голоса. И вдруг вверху – согнутая фигура немца. Он наклоняется и с силой подхватывает меня под мышку. С его помощью я взбираюсь на танк и распластываюсь на жалюзях.

Немец молча перебирается к башне, я остаюсь лежать. Мне как никогда за сегодняшний день хочется кричать и ругаться: что же это делается? Но я молчу. Я чувствую, как мной овладевает безразличие. Ко всему. И так соблазнительно поддаться ему. Сахно, кажется, тут уже нет, видно, достукался. Черт с ним: у меня ни радости от того, ни горя. Мне все осточертели, и немец тоже. Остается один только Юрка. Он лежит рядом. Его голова бьется об угол запорошенного снегом ящика. Немного отдышавшись на броне, я с особой остротой чувствую, что Юрка – моя извечная боль и моя забота. Роднее его у меня нет никого на свете. Встав на колени, я поддвигаю его к башне и в какой-то необыкновенно обостренной к нему чуткости догадываюсь: он стонет. Значит, еще живой.

Это, меня вдруг обнадеживает. Слишком дорогой душевной ценой оплачена его жизнь, чтобы так скоро согласиться на его смерть. Я наклоняюсь над Юркой, веки его вздрагивают, и серое, восковое лицо оживает.

– Юрка!.. Юрочка!.. Юр!.. – кричу я, не зная, что сказать, чем утешить его. Но я вижу – он узнает меня, только не улыбается, как прежде, а скашивает взгляд в сторону и секунд пять, будто силясь припомнить что-то, глядит на луну. Губы его тихо шевелятся, я низко наклоняюсь, – кажется, он о чем-то спрашивает.

– Все хорошо! Все хорошо, Юра! Скоро приедем! Скоро! Потерпи, браток!..

– ...куда?

– Куда едем? В госпиталь, Юра! В Знаменку! Там армейский госпиталь, ты же знаешь! – отчаянно вру я.

Нас резко бросает в сторону, я хватаюсь за башню. Рядом пылает развороченный бомбой танк. Груда железного хлама перегораживает дорогу; крутыми рывками мы поспешно объезжаем ее. А там горит снег, резина, броня. В колеях перекрутились гусеницы, за канавой валяется сорванная взрывом башня. В воздухе гарь, дым, смрад. По обе стороны дороги – вывороченные глыбы мерзлой земли, и повсюду – глубокие ямы воронок. Я осторожно поглядываю в небо, не ударят ли снова? Неужто они отвязались от нас?

На башне лязгает люк. Видно, чтобы лучше видеть дорогу, оттуда вылезает черная фигура в шлеме. Человек оглядывается на огонь и кричит нам:

– Ну что? Целы?

– Целы, – отвечаю я, хоть он вряд ли слышит.

– Ну-ну! Держитесь! Это вам не пехота-матушка. Танки!

Пошел ты со своими танками, думаю я. Хорошо тебе в этом стальном ящике, а каково нам? Но я не успеваю что-либо ответить, как на башне открывается второй люк, из которого высовывается сбитая набок кубанка. Сахно?

Да, Сахно. А я уже думал, что он пропал. Но он не пропал! Он сразу окидывает нас молчаливым взглядом, будто считает, и, видно, довольный тем, что все на месте, отворачивается, чтобы смотреть вперед.

Только долго глядеть им не приходится. Я, наверно первый, замечаю, как в звездном небе что-то мелькает, или мне кажется так. И тут же вдоль дороги в снегу снова вырастает несколько высоченных взрывов. Правда, в этот раз они слабее, чем прежде. Может, потому, что дальше? Я клюю головой о броню. Рядом размашисто лязгают люки. Танк прибавляет газу.

Как можно плотнее мы жмемся к броне. Танк бешено мчит нас, и мы едва удерживаемся наверху. А кругом начинается ад. Земля перемешивается с небом, гаснут все до единой звезды. Над дорогой, густо начиненный осколками, бушует снежно-земляной смерч. Я пластом лежу на броне, тесно прижавшись к выступу башни, и обеими руками держу Юрку. Будь что будет, лишь бы только не сбросило с танка. Пусть убивает сразу – черт с ним! Если суждено погибнуть от бомбы – не страшно. Не такая она драгоценная, наша жизнь, чтоб за нее столько бороться. Гибнут и не такие!.. Так думаю я, пожалуй, в отчаянье. И все же мучительно и страшно ждать момента, когда в твое тело врежется зазубренный стальной черепок, способный перебить рельс.

В воздухе сплошной бесконечный гром. Взрывы, грохот танков, бомбовый визг, скулеж осколков. Хорошо еще, что с одной стороны нас прикрывает башня и наша машина последняя. Достается больше передним, но перепадает и нам. Особенно с боков. На шинели летят крупные щепки от бревна. На башне с той стороны, где немец, ярко сверкает вспышка – словно замыкание в сети. Сверкает и второй раз, уже совсем рядом – возле моего плеча... С необыкновенной, почти физической осязаемостью я ощущаю ужасающую незащищенность моего тела. Как просто его пронизать, пробить, растерзать. Раз за разом осколки высекают из брони горячие искры, брызжут на нас окалиной. Но танк, молодчина, не останавливается. Он мчит по дороге, кое-где сворачивая. В одном месте обходит подбитую машину с откинутыми люками и цифрой «20» на башне. Потом вдруг тормозит. Несколько человек цепляются за борта, за трос сзади и взбираются к нам. Я боюсь, что затопчут Юрку, они и в самом деле не очень осторожничают. Один из них ранен и прижимает рукой окровавленный бок. Второй, что в расстегнутой телогрейке, ругается и, взбравшись, сразу запускает автоматную очередь в небо.

– Огонь! Всем огонь! Чего горбитесь, огонь! – кричит он на нас с немцем.

Танк бросает с боку на бок, я одной рукой снова хватаюсь за скобу на башне, а немец вместе со всеми начинает палить в небо. Я не сразу догадываюсь, что у него – мой карабин, и удивляюсь: по своим? Хотя тут не до соображения морали, тут – бой, и надо защитить свою жизнь.

Они то беспорядочно, то залпами палят в воздух, и, видно, никому невдомек, что крайний возле них – немец. И я молчу – пусть стреляет. Теперь я не боюсь, что у него оружие. Я почти уверен: нам он плохого не сделает.

Я теряю ощущение времени и не знаю, сколько продолжается бомбежка.

И все же самолеты наконец уходят. Становится вроде тихо, и в этой тишине слышен только рев танковых моторов и стрекот гусениц. Видно, скоро утро, небо становится особенно черным. (Проклятое ночное небо, от которого мы столько натерпелись сегодня!) Три машины из двенадцати остались на дороге.

Под утро девять танков въезжают в какое-то большое, по-ночному пустынное село.

Я думаю, что мы его быстро проскочим и где-нибудь наконец присоединимся к передовым частям. Но танки почему-то сворачивают к плетням и по одному останавливаются.

Сонная глухая тишина непривычно охватывает нас. Обнадеживает и озадачивает. Что дальше?

Глава двадцать седьмая

Нас ссаживают с танков и сводят в одно место на улице. Набирается человек десять – здоровые, что ночью присоединились к нам из других частей, и раненые. В том числе трое тяжело – Юрка, автоматчик с простреленным животом и все тот же наш летчик. Странно, какой он живучий – должно быть, переживет всех! К счастью, с нами опять Катя. Грубовато покрякивая, она тут же распоряжается перенести лежачих в хату.

Остальным приказано ждать. И мы молча стоим под глухой, искромсанной углем стеной мазанки, пока от головных танков быстрым шагом к нам не подходит знакомый подполковник. С ним рядом Сахно. Пустой рукав его полушубка слегка болтается при ходьбе.

– Ну как, орлы? Дали жару? – живо спрашивает подполковник и сам себе отвечает: – Дали, сволочи! Лучшие экипажи угробили. Значит, так: дальше пойдете сами. Утречком у нас контратака. А вы до Лелековки. Восемь километров. Ясно?

Мы все молчим. Восемь километров – немного, если здоровые ноги. А если прострелены? Да еще трое тяжелораненых? Как их дотащить? Только о чем спрашивать – и так спасибо этому человеку за его доброту. Не оставил, как другие, – выхватил почти из огня. Теперь у танкистов свои заботы.

– Ну, ясно не ясно – ничего не попишешь. С собой я вас не возьму. Сами понимаете. Тут оставаться не советую. Утром они могут ударить снова. – Подполковник машет рукой по дороге. – Вот так: старший – этот капитан, – кивает он на Сахно, и тот переступает на снегу. – Он поведет.

Здорово! – думаю я. Как говорят, всю жизнь мечтали иметь такого старшего. Судьба или дьявол словно насмежаются над нами. Но черт с ним, пусть ведет. Командиров, к сожалению, не выбирают.

Подполковник поворачивается и скорым шагом уходит к передним машинам, которые уже заводят моторы. Сразу же они начинают срываться с мест, и вскоре мы остаемся одни. Луны в небе уже нет, вверху гаснут звезды, тускнеет неровная полоса Млечного Пути. Кажется, скоро начнет светать. Непривычно тихо и пусто становится на улице этого молчаливого села, в хатах которого кое-где слепо просвечивают окна.

Когда танковый грохот на улице глохнет, Сахно поворачивается к нашей приунывшей группе:

– Так... Все тут? Раз, два, три, четыре, пять...

– Трое тяжелых в хате, – говорит кто-то из раненых.

Сахно снова начинает считать.

– Почему это в хате? А ну всех сюда!

Несколько человек идут через улицу в хату и выволакивают оттуда двоих. В одном я еще издали узнаю Юрку. Его несут немец и танкист в телогрейке – мешковатый, плечистый парень, видно, один из немногих, кому ночью посчастливилось, потеряв танк, остаться в живых. Второго несут двое разведчиков в рваных маскхалатах, которых подполковник присоединил к нашей группе. Сзади идет Катя.

Сахно нетерпеливо шагает навстречу:

– А где третий?

– Там, – кивает на хату Катя. – Не стоит трогать.

– Это почему?

– Почему, почему... Безнадежный. Кончается.

Сахно минуту молчит, видно, что-то решает, а потом оглядывается и указывает на меня:

– А ну давайте за третьим.

– Я не могу.

– А если через «не могу»? Это приказ!

– Зачем его брать? – огрызается Катя. – Умирает человек. Для чего мучить?

– Не ваше дело. Берите раненого! – ледяным тоном приказывает Сахно, стоя в надвинутой на лоб кубанке.

Катя вполголоса кидает ему что-то обидное и возвращается во двор. За ней, прихрамывая, иду я. Скрипнув дверью, мы влезаем в хату.

Раненый, весь мокрый от пота, неподвижно лежит на кровати. Над его головой чадит коптилка. У порога кутается в полушубок испуганная, с заплаканным лицом женщина.

– Ой, диточки, ой, лышэнько! Куда ж вы йёго! Вин же таки слабы...

– А ну помоги, тетка, – безучастно к причитанию этой женщины говорит Катя и приподнимает больного. – Дайте какое-нибудь рядом.

Покопавшись в тряпье, хозяйка расстилает на полу одеяло, и мы перекладываем на него раненого. Но он раздет, весь в бинтах и без шинели. Как его нести?

– Цэ ж вин змэрзнэ, помрэ, а у йёго ж маты е дэсь, – едва не плачет женщина и скидывает с себя полушубок. – На-тэ, ухутайтэ, все тэплишэ буде.

Тетка начинает светить над головами коптилкой. Катя укутывает автоматчика в полушубок и невзначай наступают на мою неуклюже обинтованную ногу. Я едва не падаю от боли.

– Еще не отморозил? Ну так отморозишь! – твердо обещает Катя, – И гангрена еще прибавится. Жди! – И вдруг прикрикивает: – А ну, рвани! Хватит корчиться.

Наступив ногой на рукав полушубка, она пробует его оторвать, но не справляется и бросает мне. Я рву сильнее, она придерживает, и рукав с треском отрывается.

– Ой, што вы робытэ? Што вы рвитэ мою одэжыну? Штоб вам руки одирвало, ноги пэреломало! – вдруг сварливо кричит женщина.

Катя строго прикрикивает на нее:

– Замолчите! Вам не все равно? Того жалко, а этого нет?

– Нелюдска ты людына! Лайдачка! Моя свитка, што вы наробылы?

Черт, связались еще с этой женщиной. Раскричалась, будто ее ограбили. Мне неловко, и хочется кинуть ей и рукав, и полушубок, чтоб только отвязалась. Но Катя, не обращая внимания на перепалку, приказывает:

– Вот и натягивай. Тепло и мягко будет. На морозе спасибо скажешь.

Я молчу, затаив в душе благодарность к этой огонь-девке за ее заботу. Ноге в рукаве действительно становится тепло и мягко, немного, правда, неудобно, но не беда. Главное – тепло, К боли я уже притерпелся.

Мы выносим человека на улицу, где нас ждут, и Сахно нетерпеливо подходит к Кате:

– Все?

– Все.

Капитан еще раз окидывает нас продолжительным молчаливым взглядом (наверное, считает) и, ничего не сказав, идет в ту же хату. Когда шаги его стихают на снегу, Катя опускает раненого на снег.

– Гад!

Я не спрашиваю – я уже знаю, про кого она это. Конечно, он пошел проверять, не остался ли кто-нибудь в хате. Нам он не верит. Ну и как раз кстати: там расплачется эта женщина, поднимет скандал. И действительно, вскоре вернувшись, Сахно строго объявляет:

– Вот что! Без моего разрешения в хаты не заходить! Каждый отвечает за себя и за соседа также. Раненых не покидать, чтобы там ни угрожало. Населению излишне не доверять. Половина из них националисты – немцев ожидают.

– Неужто? – вполголоса сомневается кто-то сзади.

Сахно оставляет реплику без ответа.

– Если в случае припечет, живыми не сдаваться. Ясно? Оружие есть? У кого нет – я помогу. Слабонервным тоже. Вопросы будут?

– Ясно. Не на лекции. Быстрее надо, – говорит танкист.

– Это не лекция! – мрачно объявляет Сахно. – Это приказ, и я требую его исполнения.

Глава двадцать восьмая

Горбатюк выбегает из зала и в чем был, в пиджаке и без шляпы, бросается в другую дверь – к выходу. Но дверь заперта, он резко дергает ее, и тогда из-за перегородки выходит с ключом швейцар, который его выпускает.

Я недоумеваю: что там случилось? Почему он не оделся и даже не оглянулся. Возможно, и не рассчитался. Удрал, что ли? Но тогда забрал бы пальто и шляпу.

Несколько оправившись от внезапной слабости, я возвращаюсь в зал. Сразу же замечаю, как молодежь из-за стола поворачивает головы в мою сторону. Все смотрят на меня. Там же, ожидая, стоят две официантки. Когда я подхожу к своему столу, одна выдирает из блокнота страничку:

– Одиннадцать тридцать с вас.

Оказывается, он не расплатился. Я отсчитываю половину. В кармане остается трешка, как раз на дорогу. Официантка недовольно косит взглядом:

– А вы разве не вместе?

– Нет. Не вместе.

– Пить так вместе. А платить...

Она уходит, оставляя во мне отвратительное чувство униженности. Связался на свою голову. Надо было.

Садиться за этот стол мне больше не хочется. Видно, лучше уйти. Перехватив мой взгляд, из-за соседнего стола оборачивается Игорь:

– Ну и товарищ у вас! Сплошной пережиток!

– За милицией побежал, – дружески, как союзнику, улыбается мне Эрн. – Сейчас приведет. Посидите с нами.

Ах, вот что! Впрочем, так оно и должно было случиться. Старая привычка взяла верх. Но черт с ним! Пусть ведет милицию. Не те времена, чтобы бояться.

– Садитесь, садитесь! – приглашают девушки и Игорь.

Я сажусь за их стол – между Эрной и блондинкой с густо начерненными ресницами. Говорить мне ничего не хочется – только слушать. Они все возбуждены происшедшим, но, кажется, нисколько не теряют своей беззаботной шутливости.

– Чуть не подрался с Игорем, – сообщает Эрн.

Соседка с другой стороны спрашивает:

– Он ваш сослуживец? Или бывший однополчанин?

– Однополчанин, – подумав, говорю я.

– Сволочь он!

Игорь привстает и тянется ко мне с бутылкой:

– Раскричался, будто я у него планки сорвал. А я не видел у него никаких планок. Разве у него были какие-нибудь планки?

– Не в планках дело.

Игорь наливает полбокала шампанского.

– Ладно, черт с ним! Пусть ведет. Давайте выпьем. А то посадят еще.

Эрн, хлопнув в ладоши, подпрыгивает на стуле:

– Ой, как здорово! Я буду тебе носить передачи, Игорешка! Медовый месяц в тюрьме!

– Полмесяца, – бросает парень в черном костюме. – Больше не дадут.

– Смотря чего. Пятнадцать суток, а может, пятнадцать лет.

– Черта с два – лет! Минулось!

Я тихо сижу, как гость на чужом пиру, и чувствую: начинаю улыбаться. Мне хорошо. А они беззаботно радуются, как дети. Хотя, конечно, давно уже не дети, особенно Игорь. Рослый, рукастый, широкий в кости мужчина. И все же мне в два раза больше, чем каждому из них. Мы – разные поколения, у нас разный жизненный опыт, образование, да, видно, и отношение к тому, что здесь произошло. И тем не менее я их понимаю. А это главное.

– Ну так взяли! – Игорь поднимает бокал и, заметив мою нерешительность, поясняет: – Есть маленький повод: мы с Эрной женимся.

– Вот как! Ну, поздравляю!

– Благодарим! – Он левой рукой нежно склоняет к себе невесту. – В годовщину Победы. Так сказать, по семейной традиции, как дети военных родителей. У Эрны – генерал-лейтенант. У меня – просто лейтенант. Небольшая разница.

– Почти никакой, – вставляет Эрна и нетерпеливо пригубливает бокал.

Я по справедливости оцениваю ее иронию. Трепетно живое, словно ртуть, лицо этой девушки таит столько шутливой игривости, что просто не верится в серьезность их намерения.

– А где же... ваши отцы лейтенанты? Или вы без них?

– К сожалению, без них, – коротко вздыхает Игорь и, разлив по бокалам остатки вина, садится. – Лейтенанты далеко. Ее – под Харьковом, мой в Демьянске. На вечной прописке.

Поначалу я не нахожу что ответить. Это невесело. Это даже более чем печально. Только свою печаль они, видно, давно уже пережили, и после минутной паузы Игорь поднимает бокал:

– Значит, салют!

– Ну что же! За ваше счастье, лейтенантские дети! – говорю я. Что-то светлое щемящей добротой наполняет меня. На минуту я забываю и про Сахно, и про Горбатюка, и обо всех моих сегодняшних заботах.

Все за столом выпивают. Игорь отставляет бокал и срывает обертку с конфеты.

– Только тот дурень вечер испортил. Все шло хорошо...

– Ничего. Это еще не самое худшее...

Я не успеваю закончить мысль, как рядом вскакивает блондинка:

– Вон идут! Девочки, даже двое! Задний, смотри, какой бравый! Симпатяга!

По проходу к нам быстро шагает Горбатюк. За ним, несколько приотстав, со служебной степенностью на лицах идут два милиционера в белых кителях и красных фуражках. Передний – довольно уже пожилой, с морщинистым лицом старшина, задний – действительно симпатичный мальчик.

Горбатюк останавливается возле стола и поворачивается к милиционерам:

– Вот, пожалуйста! Пьяные. Нахальство, хулиганство и, наконец, политические выпады. Вон тот, высокий. И этот, в черном.

Старшина милиции официально-бесстрастным взглядом окидывает всех за столом, осматривает бутылки, дольше задерживается на мне.

– Так. Прошу названных пройти с нами.

За столом вскакивает Эрна. Встают девушки и ребята.

– А мы?

– Вы можете оставаться.

– Нет. Если забирать, то всех. Я Игоря одного не пушу! – резко заявляет Эрн.

Я тоже встаю.

– Все же они – свидетели. Если уж вести, то вместе.

Горбатюк пронизывает меня ненавидящим взглядом:

– В свидетели вы не набивайтесь. Вы мне тоже ответите. За оскорбление.

– Ах, за оскорбление! Ну что ж! Я готов! Пошли!

Я первым выхожу из-за стола. За мной остальные. Младший милиционер проходит вперед. Вдоль ряда столов мы идем к двери. Со всех сторон на нас глядят люди. Откуда-то слышится:

– Достукались!

– Тунеядцы!

– Наверно, валютчики!

подавляя в себе неловкость, мы как можно скорее проходим мимо швейцара, спускаемся по ступенькам. Передний милиционер услужливо открывает дверь, от нее испуганно шарахается женщина. Девушки позади тихо посмеиваются. Игорь выдавливает на щеках желваки. (Вообще это не смешно.) Мы выходим на площадь.

Когда-то в запасном полку я попал на гауптвахту. Попал самым нелепым образом по милости нашего взводного лейтенанта Коржа. Этот сравнительно еще молодой человек среди остальных командиров выделялся своей феноменальной строгостью. Больше, чем за все другие проступки, он преследовал за так называемые «пререкания». И надо же было случиться, что на занятиях по физподготовке, когда Корж показывал перед взводом прием на брусьях, кто-то в строю хихикнул. Корж сразу соскочил со снаряда и, окинув строй зверским взглядом, приказал:

– Рядовой Василевич! Выйти из строя!

Как и полагалось, я сделал три строевых шага и повернулся лицом к ребятам.

– За нарушение дисциплины объявляю выговор!

Мне стало смешно.

– А это не я.

– Молчать! Один наряд вне очереди.

– За что?

– Молчать! Два наряда вне очереди.

– Вы разберитесь сначала. Это не я смеялся.

– Три наряда!

– За что наряды?!

– Молчать! Сутки ареста с содержанием на гауптвахте.

Тут я впервые смолчал. Я кусал губы и глядел на него.

Он – со злобой – на меня. Оба мы понимали, что зашли в своем упрямстве далеко и кому-то надо уступать. Но я уступать не хотел. Тем более что дисциплинарные права у лейтенанта должны же были в конце концов кончиться.

И я выпалил:

– А я не боюсь.

– Двое суток!

– Хоть десять.

– Трое суток!

После этого лейтенант впервые растерянно моргнул своими белесыми глазами. Но тут

же нашел выход:

– Не думайте! Не хватит своих, я у комбата займу. Я вас проучу.

И он занял. Я ни за что получил восемь суток простого ареста с содержанием на гауптвахте. Помню, шел туда без ремня, с шинелью, в сопровождении старшины, кругом стояли бойцы, и их лица расплывались от ободряюще-насмешливых улыбок. Такая же улыбка была и у меня. Никакого ощущения вины. Дурной каприз, глупый выпад взводного – и только.

Теперь совсем другое.

Во мне все кипит. Я знаю, что причин для серьезных выводов никаких нет. И я не боюсь милиции. Но сам факт этого привода возмущает до глубины души. Я вижу месть. Мелочную, глупую, подлую. И я жажду отмщения. Только до отмщения еще далеко. Еще неизвестно, как отнесутся к нам в той милиции. Неизвестно, кто там. А вдруг такой же бывший председатель трибунала?

Милиционеры проводят нас через служебный ход и останавливаются у двери с табличкой. Старшина поворачивается ко всей группе.

– Зайдете только вы, вы, вы и вы, – указывает он на меня, Игоря, парня в черном и Горбатюка. Эрн хватает Игоря за руку.

– И я тоже.

– Прошу остаться.

– Я не останусь. Он мой муж! – выпаливает она тоном, рассчитанным на то, чтобы сразить старшину.

Однако тот не повел и бровью:

– Это неважно.

– Нет, важно!

– Ну хорошо, ступайте. Остальные свободны.

Глава тридцатая

Мы долго бредем притихшей ночной улицей, пока выходим из села.

Тем временем настает утро. Небо окончательно растворяет в себе предрассветную синеву и яснее. Гаснут мелкие звезды. Из серых сумерек проступает пестрота сельской околицы. Возле моста через ручей стоит покосившийся, с открытыми люками танк, подбитый или брошенный – не разберешь. Поодаль, остро воняя разлитым на снегу бензином, валяются два мотоцикла с колясками. Еще дальше на обочине лежит конский труп с вмятой в снег гривой. У дороги несколько зияющих чернотой воронок – значит, и тут бомбили. Тут уже начинается поле, большое село кончилось. На столбе указатель с готической надписью: «Mіnen».

Вместе с танкистом и Катей я несу Юрку. Мой друг тихо качается на треугольной немецкой палатке и даже не стонет. Мне почему-то кажется, что он просто утомился и спит. Впрочем, мне очень хочется, чтобы было так. Пусть поспит еще, пусть! Иначе что я скажу ему, когда он очнется? Чем обнадежу его, если сам не знаю, где мы и куда держим путь.

Дорога за селом круто заворачивает по склону вверх. Намотав на руку парусиновый угол палатки и все время оберегая раненую ногу, я устало ковыляю по снегу. С другой стороны идет танкист – черный, как грач, чубатый парень в промазученной телогрейке. На его голове добротный, подбитый мехом танковый шлем с лорингофоном, провод от которого болтается на плече. Дорога на подъем разогрела танкиста, и он то и дело сдвигает шлем на затылок. А у меня уже, кажется, ооченела голова. Катя придерживает палатку сзади. Двое разведчиков впереди волокут автоматчика. Позади всех, низко согнувшись, тащит на себе беспомощного летчика немец. Это его заставил Сахно. Впрочем, иначе и не понесешь – некому. И летчик уже не требует, как прежде, убить немца, а молча обнимает забинтованными руками-култышками его длинную шею. Один только капитан налегке шагает сбоку. Но он тоже ранен, и к тому же – начальство.

Наконец, выбравшись по косогору на степной простор, небольшая наша группа останавливается. Не сговариваясь, мы кладем раненых на снег и обессилено падаем рядом.

Сахно несколько медлит, но соглашается:

– Пять минут!

Мой напарник-танкист широко расставляет в колее свои «кирзачи» и говорит с легкой завистью:

– Строгий!

– Дурной, а не строгий, – поправляет Катя.

Лежа на боку, она заботливо укутывает Юрку полушубком. Юрка часто и молча дышит. Танкист поворачивает к ней голову:

– Ну почему? А я люблю строгих. С ними в бою уверенней.

– Недолго ты, видно, в бою пробыл, – замечает Катя.

Танкист снова поднимает разгоряченное лицо. Взгляд его как-то недовольно темнеет.

– Да уж больше тебя. Из-под самого Курска газую.

Катя хмыкает:

– Из-под Курска! Тоже вояка! Ты бы в сорок первом погазовал. Или в сорок втором. А теперь что газовать!..

– Ты уж с сорок первого!

– Вот именно! С августа сорок первого. Насмотрелась таких вас... Строгих и ласковых.

– Оно и видно! – многозначительно замечает танкист и одним глазом подмигивает мне.

Но я не разделяю его иронии – Катя в моих глазах уже прочно утвердила свои человеческие достоинства, которые не может унижить ничто из того, что он имеет в виду. И я лежу молча. В груди еще все горит от усталости, а мокрая от пота спина начинает мерзнуть. Опять же – нога. В стопе будто дергает кто-то самый болезненный нерв, нога на снегу сама собой заметно подрагивает. Пальцев я, однако, не чувствую, они мне уже стали чужими.

Проходит значительно больше пяти минут. Ребята устало сопят, развалившись на снегу. Я поглядываю вперед, где сидят двое разведчиков, и думаю: хотя бы уж скорее кончался их автоматчик. Может, это подло – желать смерти товарища, но иначе мы тут, видно, засядем. Однако там, кажется, что-то происходит. Один разведчик, поворошив бедолагу, зовет Катю:

– Эй, сестра! Глянь-ка сюда...

Катя устало поднимается и идет к разведчикам. К ним же подходит Сахно. Они там еще что-то возятся, но уже ясно: автоматчик скончался. (Надо было тащить его из села!) Рядом поворачивается в колее танкист. Даже апатичного, вконец усталого немца задевает любопытство, и он приподнимается на дороге. Что ж, может, так лучше. Бедняга автоматчик простит нас.

Однако что это время от времени гудит? Будто где-то невдалеке прогазует и стихнет мотор. В селе или дальше? Нет, пожалуй, в степи. Я всматриваюсь в кривизну сельских улиц, но ничего подозрительного там не видно. Правда, дальний конец села скрывается за поворотом балки. Не подходят ли туда немцы? Я напрягаю слух, только гул вскоре глохнет. Или это мне кажется так от переутомления?

Тем временем над селом, над широкой балкой и степью в утренней морозной дымке восходит солнце. Какое-то оно сегодня удивительно большое и красное. Просто непривычно видеть такой его ярко-багровый шар, который выкатывается из-за горизонта и не спеша движется вверх. И весь небосклон на востоке широко и густо залит какой-то мутной, слабо подсвеченной краснотой. Что-то недоброе чудится в этом сегодняшнем восходе... Нечто беспокойно-загадочное рождается вместе с днем и гнетет. Я не могу осмыслить своего предчувствия, но смутная тревога все больше охватывает меня, и я уже знаю: не к добру это. Стараясь, однако, не выдать моего беспокойства, я поглядываю на Юрку. В высоко поднятом воротнике полушубка тихо покоится его сосредоточенно-отрешенное лицо. Юрка в забытьи, и, если бы не его редкие тихие стоны, он бы выглядел почти неживым. Танкист рядом спокойно хрустает снег, будто вокруг ничего особенного не происходит. Я же прислушиваюсь к возбужденным голосам тех, что возле автоматчика, и понимаю: Сахно приказывает нести покойника дальше, а разведчики отказываются. Конечно, негоже покидать его на дороге, но и мы не железные. Я встаю и, больше, чем до сих пор, прихрамывая, подхожу к капитану. Сахно, откинув полушубка, засовывает в карман документы умершего.

– Надо о живых больше думать!

Капитан круто поворачивается ко мне:

– Что вы имеете в виду?

– То, что слышали. Пусть бойцы берут младшего лейтенанта.

– Вашего дружка?

– Дружка, ну и что ж? Или того, – киваю я в сторону летчика, который молча лежит

возле немца.

– Что, немца жалко?

– Не жалко. А гадко.

– Ах, гадко! А я думал, жалко. Сочувствие, так сказать, – сжав квадратные челюсти, цедит Сахно. И вдруг властно приказывает разведчикам: – Взять труп!

Потные и усталые разведчики переступают с ноги на ногу. Перепачканные их халаты подпоясаны кожаными немецкими ремнями. И у одного из них возле пряжки я вижу знакомые гранаты. Так и есть: на одной чем-то острым выцарапано «М. Коваль». Я не могу сдержать своего удивления и делаю шаг к разведчику:

– Слушай, где ты их взял?

Вместо ответа разведчик почему-то дергает головой, клонится, клонится на меня и вдруг всем телом грузно валится на дорогу. В следующее мгновение, не успев удивиться, я также падаю. В воздухе над головами проносится близкая череда пуль: жви-у, жви-у, жви-у... Немцы?

Выждав десяток секунд, я всем телом круто оборачиваюсь назад. Ну конечно, мы проворонили – в селе немцы! Четыре или пять автомашин или транспортеров (а может, и танков) двигаются по улице, и с передней в нашу сторону сверкают блеклые при утреннем свете трассеры.

Поняв все, я рывком кидаюсь к Юрке. Рядом вскакивает танкист. Сразу же к нам подбегает Катя. Танкист оглядывается и матерится.

– Гад, с ума сошел, что ли? Наверное, свой...

– Свой! Нашел свояка! Держи палатку! – кричит Катя.

– Бегом! Бегом! – торопит издали Сахно (или, может, разведчик).

Мы втроем неловко хватаем Юрку, но его тело тут же соскальзывает с узкой палатки наземь. Новая очередь брызжет нам в лица снегом. Чтобы прикрыться от пуль, я резко толкаю друга в колею, где глубже, и валюсь туда сам. Когда очередь минует, подхватываю его под мышки. Рядом вскакивает танкист. Ругаясь, он помогает. Над головами снова стремительно проносится огневая струя, но мимо. Кажется, мы целы. Чувства мои притупляются, в горячке я плохо соображаю, и единственное, почти бессознательное стремление побуждает: «Быстрее!» Больше я не оглядываюсь, все мое внимание устремляется только вперед. Сахно и разведчик, пригнувшись, уже далеко бегут по дороге. За ними тащит летчика немец. Второй разведчик лежит между колеями, рядом с трупом автоматчика. Конечно, те их оставили. Но и нам некогда задерживаться – быстрее! Хотя бы шагов сто за пригорок – там бы мы укрылись.

Пули то взбивают снег под ногами, то проносятся в воздухе рядом, ветер обдает нас снежной пылью. Мы вскакиваем и сразу же падаем, но изо всех сил волочим Юрку. Наконец, в который уже раз распластавшись в колеях, видим – скрылись. Село остается за пригорком, пули идут верхом. Тогда мы расслабленно поднимаемся. Юрку у меня забирает танкист, который за воротник сильно тянет его за собой в колее. Я плетусь последним и жду: вот-вот загрохочут моторы.

Ах черт, если бы были гранаты! Как теперь нам нужны гранаты! И я ругаю себя, что не взял их у разведчика. Только как было взять?..

Впереди снежная гладь, по которой пролегает дорога. Дальше два ряда столбов, какая-то постройка – кажется, там железная дорога. Туда устало бредут Сахно и разведчик. Разведчик останавливается и, подождав, начинает помогать немцу. Юрка в надежных руках танкиста и

Кати. А я уже не могу. Я достаю из-за спины карабин и ложусь в колею.

Умереть, что ли? Пожалуй, это было бы блаженством – так вот тихо закрыть глаза и умереть. Да, знаю, такая смерть – роскошь. Будет совсем по-другому: перебитые кости, разорванное тело, кровь и муки. И будет скоро – вот-вот. Как только покажутся из балки немцы.

Однако в магазине у меня четыре патрона. Я перезаряжаю карабин и начинаю ждать. Колея подо мной мелкая и широкая. Грубые следы «студебеккера» полузатерты Юркиным телом. Комья снега. Следы. Лошадиный помет. Если хорошо прицелиться – я могу подстрелить пару фрицев. На большее рассчитывать трудно. Но и для этого надо отдышаться, успокоиться. Хотя бы успеть!..

Но немцы не показываются. И за пригорком ничего не слышно. Что за напасть? Уж больно они медлят. А может, им наплевать на нас? Может, повернули на другую дорогу?

Я оглядываюсь. Танкист с Катей во весь рост несут Юрку. Остальные уже возле постройки. Похоже, там переезд. Как-никак – укрытие. А значит, и жизнь.

Это вдруг обнадеживает. Возможно, и я успею. Немцев все нет. Тогда я вскакиваю и, сильно хромя, быстро иду по дороге. Карабин в который раз служит мне костылем.

Хоть бы успеть! Хоть бы успеть! – в такт шагам пульсирует мысль, и я то и дело оглядываюсь.

Глава тридцать первая

Не веря, что все обошлось, я пересекаю шоссе, которое по эту сторону бежит рядом с железной дорогой, и иду к переезду. Но это не переезд, а скорее будка обходчика – кирпичное строение, сарайчик, штабель шпал и несколько присыпанных снегом рельсов на невысокой подставке. Шлагбаумов тут нет.

Ребята лежат в снегу за редким поломанным штакетником. Сквозь его щели торчат на дорогу два автоматных ствола. Ждут. И ругаются. Впрочем, ругается один Сахно:

– Какое вы имели право? Я вас спрашиваю?

Его сосед разведчик, ворочаясь в снегу, запальчиво оправдывается:

– Так ведь убит! Что я, слепой, что ли? Прямо в голову.

Доковыляв до штакетника, я боком падаю возле танкиста и просовываю в дырку свой карабин. Впереди так никого и не показалось. Видно, в самом деле плевали на нас немцы. Напугали, одного угробили, тем и ограничились.

– Василевич! – зовет меня Сахно.

– Я!

– Вы убитого видели?

– Ну, видел. А что?

– А вы уверены: он убит, а не ранен?

– Я не смотрел. Вы же там стояли. Могли поинтересоваться.

Сахно минуту молчит, раздумывая. Потом решительно встает на кодени.

– Вот что! – категорически объявляет он разведчику. – Сейчас же пойдете и доставите сюда труп. Поняли?

Разведчик тоже встает:

– А зачем труп?

– Чтобы я видел, что он убит! – теряя терпение, кричит вдруг Сахно. – Вы понимаете или нет? Или вам это нужно пистолетом внушить?! Ну!

Он размахивает пистолетом, и я теперь не завидую парню. Уставившись в лицо капитану, видно, понимает это и разведчик. Немного помедлив, он зло плюет в снег и, ни на кого не взглянув, идет на дорогу. Под забором остаются трое. Остальные, кажется, в будке.

– Сопляки! Разгильдяи! – бушует Сахно. – Я вам покажу, как надо выполнять приказы!

Здорово, думаю я. Видна командирская хватка. И принципиальность. Однако зачем столько крику?

Сахно стискивает, словно замыкает, свои челюсти и ложится в снег. Мы смотрим на дорогу. Разведчик быстро идет с автоматом под мышкой. Справа, где-то совсем близко, – Кировоград. В небе над ним расплываются гривы дымов. От близкой канонады мелко дрожит под нами земля. В какой стороне передний край – не понять: кажется, грохочет повсюду. Невысоко, обрушив на землю гул, проносится стая «Илов» – пошли на штурм. На небосклоне бледным пятном сквозь реденькую дымку блестит холодное солнце.

На дороге по-прежнему пусто.

Я начинаю мерзнуть. И голова, и нога. В овчинный рукав набилось снегу, там мокро. Беспокоит мысль – как Юрка? По такой дороге, по-видимому, досталось и ему. И тут будто в ответ на мое беспокойство из-за угла будки появляется Катя:

– Младшой! А, младшой! Друг зовет.

В скверном предчувствии замирает сердце. Я вскакиваю. Вдали вскидывает голову. Сахно. В его взгляде – придиричивая строгость службиста.

– На минуту, – говорю я и ковыляю за угол.

В будке полумрак. Выбитые окна завешены каким-то тряпьем. На полу слежавшаяся солома. (Пожалуй, за эти сутки заходим сюда не мы первые.) Но тут тепло. Меня встречает пожилой, согбенный человек в черной телогрейке. В углу на соломе уныло сидит немец. Рядом на пестрой дерюжке дрожит-трясется в грязных бинтах летчик. Немец время от времени прикрывает его шинелью. Ближе к окну смиренно вытянулся на полу мой пострадавший Юрка.

– Сядь, – тихо говорит он.

Я опускаюсь подле него на солому и молчу. Я не знаю что с ним. Не самое ли худшее?..

– Тебя там не ранило? – тихо спрашивает Юрка.

– Нет, Юра. Обошлось. А ты слышал? – спрашиваю я, затаив дыхание. Неужели он все слышал, что делалось на дороге?

– Я понимаю, – имея в виду что-то свое, говорит Юрка. – С нами возни!.. Самим столько горя! Но знаешь... Не оставляй. Очень прошу. Я-то – черт с ним... Но мать... Ты же знаешь.

Он умолкает, и мне становится легче.

– Юр! Ну что ты! – удивляюсь я, чувствуя свою неискренность. Я ведь еще не знаю, куда мы подадимся, как выберемся из этой западни. Сумеем ли вынести его живым? Не знаю почему, но моя решимость спасти его с сегодняшнего дня поколеблена. И все же я с внезапной уверенностью обещаю: – И не думай даже: не оставим!

Юрка зябко ежится и вздрагивает.

– Знобит, холера. А вообще сегодня мне лучше. Я теперь чувствую: выживу. Вчера, признаться, думал, хана. – Он виновато улыбается уголками губ и снова становится печально-серьезным. – Выбраться бы только.

– Выберемся, Юра. Тут уже недалеко. Вот немец поможет. Еще есть двое здоровых. Не беспокойся.

Я поглядываю на Катю, которая стоит сзади, и вдруг вижу кого-то на полу у стены. Прикрытый шинелью, он неподвижно лежит в тени. Только ноги в немецких, аккуратно подкованных сапогах вытянулись к порогу.

– Кто это?

– Немец, кто же еще, – говорит Катя.

– Немец, сынок, немец, – подтверждает старик, видно, хозяин этого домика. Он расслабленно шаркает от порога и садится на край топчана. Потом в раздумье снимает шапку. На белой голове топорщатся спутанные поседевшие космы.

– Откуда немец?

– Да тут вчера... Помирал на шоссе. Ну, подобрал.

Я встаю, отворачиваю край шинели. На окровавленной соломе – пожелтевшее молодое еще лицо. Полуоткрытые неподвижные глаза. Худая кадыкастая шея. На погонах по офицерскому значку. Обер-лейтенант вермахта.

– Всю ночь бился. И плакал, как дитя. Нелегко отходил, не дай Бог. Теперь уже что?.. Теперь царство небесное.

– Ты что: у немцев служил? – зло кольнув его взглядом, спрашивает Катя.

Человек поднимает глаза и снизу вверх глядит на нее с упреком:

– Почему так говоришь, дочка?

– Больно уж жалостливый.

– Может, и жалостливый. А немцам я не служил. Я работал. Двадцать лет в этих местах работал на железной дороге, – обиженно говорит человек. – Себя кормил. Невестку с детьми да еще ваших двоих в сорок первом выхаживал. Пока раны затянулись. Что же, сам солдатом был. В ту, николаевскую, натерпелся лиха. В плену у них был. Знаю.

– А этот? – киваю я на труп под шинелью.

– А что этот? Когда умирал – Бога вспоминать стал. Гота по-ихнему. Перед кончиной-то. Смерть, она всех уравнивает. Теперь он человек просто. Покойник.

– Очеловечишь его! – говорит Катя. – Мало ты, наверно, повидал их!

– Да уж сколько пришлось, – ворчит старик, и потрескавшиеся его руки свиваются в узел.

Мне кажется, что у немца на ремне оружие. Нагнувшись, я дергаю за язычок кобуры – действительно, там маленький вороненый пистолет. На боку надпись какой-то бельгийской фирмы. Удивительно удобная рукоятка, словно вливается в ладонь. Остальное меня мало интересует, а оружие пригодится. Тем более что магазин полон патронов. Ударом ладони я загоняю магазин в рукоятку и ловлю на себе взгляд Юрки.

– У тебя есть? Нету? На, возьми, – говорю я. – Пусть будет.

Юрка ослабевшей рукой берет пистолет. Но в его глазах уже нет и капельки интереса, обычного в таких случаях. Я уже заметил, что за время ранения во взгляде моего друга появилось что-то новое, неведомое мне прежде. Какая-то отчужденная настороженность все настойчивее овладевает им, делая почти неузнаваемым такого знакомого и привычного мне Юрку. Это огорчает и как-то невольно начинает отстранять его от меня, и я не знаю, что говорить дальше. Недавно еще бывшее прочным единство меж нами нарушается, бессловесная связь исчезает. И я молчу. Молчит, переобуываясь на полу, Катя. Молчит старик на скамейке. И вдруг под окнами раздается оклик Сахно:

– Василевич!

Вздрагнув, я бросаюсь к двери и на пороге сталкиваюсь с Сахно. Едва не сбив меня с ног, капитан хватается за карабин.

– Дай сюда!

И бежит за угол к штакетнику.

Я выскакиваю из-за угла. Однако танкист беспечно лежит на своем месте и как-то уж очень спокойно всматривается вдаль. После сумерек слепит снежная яркость, однако мне кажется, будто по полю кто-то идет. Далеко и вроде один. Тем временем Сахно быстро перезаряжает карабин и, приткнув его к штакетнику, целится. Вскоре раздается выстрел.

– Что такое?

Танкист оглядывается и во взгляде его – ни тени тревоги. Парень кивает в степь:

– Да вон тот драпанул.

Разведчик? Ну так и есть. Далеко, под самым пригорком, шевелится одинокая белая фигура. Видно, порядком отойдя от нас, он свернул с дороги и теперь напрямик шпарит куда-то по снежной целине. Эта новость сначала обжигает меня гневом, потом сменяется удивлением – куда же он направляется? Если к немцам, то не надо было сворачивать с дороги, немцы ведь так близко в селе. Сахно стреляет опять.

– Стойте! – кричу я. – Что вы делаете?!

Капитан, не отвечая, стреляет еще, только все же далеко и попасть трудно. Разведчик, наверное, услышав его выстрелы, останавливается и раза два взмахивает над головой: мол, черта с два вы меня достанете!

– Что вы делаете? Разве он к немцам!

Сахно, как затравленный волк, оглядывается и вскакивает на ноги.

– А вы замолчите! Замолчите! – кричит он. – Вы разгильдяй! Вы разлагаете дисциплину. Я в трибунал вас передам!..

Я внутренне смеюсь. Напугал! Трибунал! Дурень ты, хочется мне сказать, но я знаю – теперь с ним лучше не связываться. Я наклоняюсь за карабином, который он одной рукой бросает мне под ноги, и отхожу. Сахно торопливо идет к помещению. На углу встречается с Катей. За ней ковыляет старик. Катя встревожена:

– Что за пальба?

Не отвечая, капитан вскидывает своей подбородок:

– А ну, собирайте монатки! Марш отсюда!

– Куда марш? Кругом немцы, – спокойно говорит Катя.

Сахно с недоумением смотрит на нее.

– Туда! Вперед! К своим! – машет он в поле.

Девушка вздыхает и отворачивается. К Сахно, кутаясь в телогрейку, подходит старик.

– Там мины, сынок. Недавно немцы раскладывали. Сам видел, тут аккурат грузовики стояли. А они по полю разносили.

Катя застегивает полушубок. Танкист, подойдя сзади, сдвигает на затылок свой шлем и прислушивается к разговору. Сахно пронизывающе смотрит на старика.

– Где край минного поля? Где обход? Будешь показывать! – приказывает Сахно.

Старик разводит руками.

– А разве ж я знаю? Сперва так видел, а потом они меня в город отвезли. Сколько они тут разбросали – леший их знает.

Наступает тягостная пауза. Слышнее становится самолетный гул. Несколько воробьев слетает с крыши на снег и проворно суетится у ног. Сахно оглядывает окрестность.

– Так, – решает он. – Раненых оставить. Немца шлепнуть. Хотя нет! Немец пойдет с нами.

Поддавшись вперед, я останавливаюсь перед капитаном:

– Младшего лейтенанта также возьмем!

Мой голос дрогнул. На этот раз я ему не уступлю. И Сахно, кажется, понимает это. Строго сверкнув на меня злым взглядом, он отворачивается.

– Только при условии, что сам его понесешь.

– Помогут. Они помогут, – говорю я и умоляюще гляжу на Катю.

Та, однако, отводит свой взгляд в поле, и я обращаюсь к танкисту:

– Друг, ты же поможешь?

Танкист недовольно хмыкает:

– А я что – лошадь?

Надежда моя рушится. Я едва сдерживаю слезы. Сволочи оба! И Катя тоже. А я полагался!.. Тяжко! Страшно! Конечно, своя рубашка ближе к телу. Трусы проклятые! Ну, да черт с вами! Еще поглядим – кому повезет.

Меня душит обида и гнев. Надо было бы им что-то сказать. Но я не нахожу слов и, сдерживаясь, чтобы не закричать, бросаюсь к крыльцу.

Дверь за собой я не закрываю – теперь мне плевать на все в целом мире. Я склоняюсь над Юркой. Он с усилием поднимает запавшие веки.

– Юр, ну как ты?

– Так, ничего, – тихо, пересиливая стон, говорит он и спрашивает: – Почему выстрелы были?

Я не отвечаю.

– Юра, ты можешь? Берись как-нибудь, а?

С внезапной тревогой в глазах он послушно протягивает ко мне руки. Я поворачиваюсь боком, чтобы подставить ему плечи. В это время в помещение неслышно входит Катя. Рядом на полу я вижу ее валенки.

– Ну как раз! Только тебе и нести! – злится она, и от этого ее тона что-то во мне расслабляется.

Катя оглядывается:

– Эй, Фриц, а ну подсоби!

– Яволь. Айн момент!

Немец с готовностью вскакивает. Я слышу, как стучат по полу его подкованные сапоги. С помощью Кати он принимает с моих плеч довольно-таки тяжелое тело Юрки. Палатки на этот раз нет, и они берут Юрку за воротник и полы полушубка. И тогда на полу вскрикивает летчик:

– А я? А меня? Бросаете? Завели в окружение и бросаете? Сволочи вы! Пехота! – дико кричит он, размахивая в воздухе руками-култышками. И вдруг истерически всхлипывает: – Братцы! Что же вы делаете! Спасите! Я же командующего возил. Я его личным шофером был. Он из вас души повытрясает! Вы слышите! Сволочи! Я не прошу!

– Ах, вот что! – приостанавливаясь, говорит Катя. – Вот ты какой летчик!..

– Я не летчик! Я личный шофер командующего. Поняли? Вы меня не оставите. У меня военная тайна. Я тайну имею!

В растерянности я не знаю, что делать. Противно и странно одновременно слышать все это. Но он такой здоровенный – нам его не поднять. Впрочем, может поднимет танкист? Надо бы перенести его отсюда куда-нибудь в более подходящее место.

Мы выносим Юрку на крыльцо, и я кричу танкисту, который рядом с Сахно стоит на дворе. Оказывается, они тут все слышали.

– Эй, слышишь? Возьми!

Танкист без слов закидывает за плечо автомат, но Сахно грубо отстраняет его:

– Стой! Я сам...

И решительно протискивается мимо нас в хату.

Сгибаясь, мы выносим Юрку во двор и удобнее берем его снова втроем: я, немец, Катя. В помещении слышатся ругань и крик. И вдруг раздается выстрел.

Танкист бросается к двери и сталкивается там с Сахно. Капитан с окаменевшим лицом на ходу запихивает в кобуру «ТТ». В удивлении, граничащем с испугом, мы смотрим на него.

– Вот так будет с каждым! – властно объявляет он и, заметив наши неодобрительные взгляды, кричит: – С каждым паникером и нытиком! У меня не дрогнет рука. Ясно?

Холодом пахнуло в душу – такого мы не ожидали. И все ясно чувствуем – это не пустые угрозы. Решимости у него хватит.

Сахно выходит со двора:

– Ну! Шире шаг!

Примолкнув, мы быстро идем по дороге в поле. Сзади в воротцах остается старик. Он молча смотрит нам вслед.

Глава тридцать вторая

В милиции нас, видно, не ждут. Пока мы по одному проходим через узкую дверь, за столом в комнате доигрывается партия в шахматы. Играют младший лейтенант в серебряных погонах, который сидит за столом, и милиционер, стоящий сбоку. При нас они поочередно делают несколько торопливых ходов. Но до мата, пожалуй, далеко, и милиционер осторожно убирает со стола доску. Младший лейтенант встает и, хмурия светлые бровки, окидывает нас взглядом, в котором начальническая строгость борется с обычным юношеским любопытством.

– К стенке! К стенке! Не толпитесь у двери.

– Не убежим! – говорит парень в черном.

Выдерживая определенную дистанцию во взаимоотношениях, офицер сухо бросает:

– Охотно верю.

Он совсем еще молод, видно, недавний выпускник милицейского училища, но деланной строгости на его лице предостаточно. Старшина, приведший нас, становится у двери. Мы все выстраиваемся в ряд, в трех шагах от единственного тут стола, и младший лейтенант опускается на стул.

– Ну, в чем дело? Кто объяснит?

Горбатюк подходит к столу:

– Они оскорбили меня. Кроме того, планки...

– Вас мы уже слышали, – довольно решительно перебивает его офицер и кивает на меня:

– Говорите вы!

– Что говорить? Планок у него не было. Я их не видел.

Младший лейтенант бросает беглые взгляды на остальных и останавливается глазами на Игоре:

– А вы что скажете?

– Я присоединяюсь к товарищу. К сожалению, не знаю фамилии.

– Так. Значит, не признаетесь. Тогда будем писать.

Он разворачивает на столе канцелярскую книгу. Из кармана кителя достает авторучку.

– Та-ак! Пишем. По порядку. Вас первым. Фамилия, имя, отчество.

– Василевич, Леонид Иванович.

– Год рождения?

– Тысяча девятьсот двадцать четвертый.

Ручка его почему-то не хочет писать, царапает бумагу, и младший лейтенант стряхивает ее в сторону. На красной скатерти, заляпанной чернилами, появляется новая клякса.

– Ч-черт! Дальше?

– Ковалев Игорь Петрович. Тысяча девятьсот тридцать четвертый.

– Так. Дальше.

– Теслюк Виктор Семенович, тридцать восьмого.

Ручка офицера снова царапает, и он, повернувшись, резко стряхивает ее в этот раз над полом.

– Теслюк. Дальше?

– Фогель, Эрна Дмитриевна. Тысяча девятьсот сорок второго.

Младший лейтенант поднимает голову:

– А вы что – свидетель?

– Она ни при чем, – объявляет Горбатюк и с мрачным выражением закладывает руки за спину.

– Нет. Я при чем. Пишите и меня.

Офицер с недоверием спрашивает Горбатюка:

– Она, значит, не оскорбляла вас?

– Нет. Она нет.

Младший лейтенант колеблется, и Эрна с внезапной решимостью на лице подсакивает к столу:

– Пишите, пишите! Я еще оскорблю.

Младший лейтенант удивленно снизу вверх смотрит на нее. В черных глазах девушки протест и решимость. Офицер, не отрывая от нее взгляда, вяло стряхивает ручку.

– Фогель?

– Фогель, Эрна Дмитриевна. Тысяча девятьсот сорок второго года рождения. Так? Записали? А теперь я скажу.

Крутнувшись от стола на тоненьких каблучках, она оказывается лицом к лицу с Горбатюком:

– Вы подлец! Слышали? Подлец!

Игорь, шагнув к девушке, хватает ее за руку:

– Эрна!

– Эрна! Брось ты! – с другой стороны подсакивает к ней Теслюк.

Игорь ставит ее рядом с собой. Живое, мягко очерченное лицо девушки горит возмущением.

– А я не боюсь. Ваше счастье, что их у вас не было. Я бы их сама сорвала. Вы их недостойны. Вы провокатор!

– Вы слышите? Вы слышите, товарищ младший лейтенант? Я прошу записать! – густым басом требует Горбатюк.

Младший лейтенант вскакивает из-за стола и становится перед девушкой:

– Замолчите!

Эрна умолкает, все еще дрожа от возбуждения.

Горбатюк тычет в ее сторону пальцем и кричит офицеру:

– Вы видели? Она пьяна! Они все пьяные! Прошу записать!

– А ну, ведите себя пристойно. Тут не ресторан, – строго приказывает младший лейтенант.

Эрна постепенно успокаивается. Обхватив ее за плечо, Игорь приближает девушку к себе. Я изо всех сил стараюсь сдержаться, чтобы выглядеть спокойным. Хотя чувствую. – выдержки моей хватит ненадолго.

Хмуря редкие брови, младший лейтенант заходит за стол. У порога стоит милиционер. Затаив в себе гнев и неловкость, стоим мы. Один только Горбатюк в мрачном оживлении порывается к столу:

– Вот видите! Вот видите! Ведь это – прямые выпады! Да! Да! Правительственные награды есть акт Советского правительства. А она что сказала? Попрошу все записать. Я эти награды заслужил в боях!

– Безусловно, – нарушает напряженное молчание офицер. – Никто не дал права оскорблять то, что заслужено на фронтах Великой Отечественной войны.

Со сдержанной строгостью, которая вовсе не идет к его молодому лицу, он садится. Еще раз бросив осуждающий взгляд на Эрну, сильно встряхивает ручку.

– Ну, не все, что блестит на груди, в бою заслужено, – говорит в тишине Теслюк. Этот парень все время держится как-то удивительно ровно и спокойно. На его полных симпатичных губах, кажется, постоянно блуждает добродушная улыбка. Будто все, что тут происходит, его ничуть не касается.

Младший лейтенант замирает с занесенной над бумагой ручкой:

– Вы не мудрите мне тут.

– А я не мудрю, – во все свое кругловатое лицо улыбается парень. – У меня дядя – отцов брат – подполковник в отставке. Всю войну просидел в Архангельске в военном училище. Фронта и не нюхал, а уволился – четыре ордена.

Младший лейтенант недоверчиво хмыкает:

– Расскажите это кому-нибудь другому.

– Вполне вероятно, – говорю я. – Может и так быть.

– Бувае, – поддерживает меня старшина. Он прислоняется к стене и достает портсигар.

– Факт! – говорит Теслюк. – За выслугу лет и безупречную службу.

Младший лейтенант кладет на стол ручку и поворачивается к старшине:

– Прохоренко, у тебя «Шипка»? Дай-ка одну.

Он разминает конец сигареты и, будто раздумывая о чем-то, продолжает осматривать нас. Мы все уставились в него. Теперь он – наш бог, властелин нашей судьбы. И мы уже чувствуем в его недавней настроенности против нас маленькую щербинку.

Старшина Прохоренко тем временем закуривает сигарету и сдвигает на ухо фуражку. Его грубое немолодое лицо расплывается в добродушной ухмылке.

– В тылу их бильш давалы, ниж на фронти, – рассудительно говорит он. – Я пришов з армии у сорок девятому роцы и имев тры медали. А суседка Гануся на буряках запрацювала тры ордены Ленина. За тры роки – три ордены. Бильш, ниж наш командир полка. Бурячки родили, от начальство и не обижало. И ей вишалы, и соби. А ей не ордэны трэба було давать, а стреху видрамантуваты. А то стреху я рамантував. Тры роки текла.

Горбатюк круто поворачивается к старшине:

– Это не ваше дело.

– Почему ж не наше? Наше.

– Если не наше, то чье? – говорю я с вызовом. – Это что, справедливо, по-вашему, когда у звеньевой орденов полна грудь, а крыша дырявая?

Горбатюк, гляжу, вызов принимает. Глаза его загораются недобрым огнем:

– Да, справедливо! Если правительство и ЦК считают, что у звеньевой должны быть ордена, то справедливо.

– Вы за высокие слова не прячьтесь! – говорит Игорь.

Я наседаю дальше:

– А когда сажали в тридцать седьмом, вы тоже считали это справедливым?

– А это не нашего ума дело! – трясет головой Горбатюк и сам начинает дрожать. – То была государственная политика. Что в ней не так – партия поправила.

За столом снова вскакивает младший лейтенант:

– Прекратить эти разговоры! Прекратить сейчас же!

Он раскраснелся и волнуется. Я также волнуюсь. И все же жалко, что нам не дают тут скрестить шпаги как следует. Я бы вывел его на чистую воду.

– Товарищ младший лейтенант! Я попрошу это записать в протокол! – тычет пальцем в бумаги Горбатюк. Красное, вспотевшее его лицо пышет возмущением.

– Запишем! А как же? Это так не пройдет! – с угрозой говорит младший лейтенант и начинает торопливо излагать на бумаге нашу стычку.

Горбатюк с мстительной важностью поджимает губы. Похоже, что он победил.

– Сволочь ты, Горбатюк! – говорю я с едва сдерживаемой яростью.

– Гад! – поддерживает меня Игорь. Его глаза полны презрения к этому человеку.

Горбатюк хочет что-то ответить, но сзади через широко открытую дверь в комнату входят двое. Оба офицеры милиции.

– Э! Что за грубость? Молодые люди! По какому поводу?

Лейтенант за столом вскакивает и отдает честь:

– Товарищ капитан!..

– Так, что случилось? – миролюбиво спрашивает капитан и снимает фуражку. Потом, приглаживая редкие волосы, поворачивается ко мне: – По какому праву вы обругали этого гражданина?

– По праву фронтовика! – говорю я слишком твердо и, возможно, чересчур возбужденно. Но благодушно настроенный капитан на мой ответ никак не реагирует. Он переводит взгляд на Игоря.

– А вы, молодой человек, по какому праву? Вы-то уж, пожалуй, не фронтовик?

Серые глаза Игоря становятся жесткими, тугие скулы выпирают еще больше.

– Я сын фронтовика.

Капитан сцепляет на животе пальцы рук и поворачивается к Горбатюку:

– Ну да ведь и вы-то, наверно, фронтовик?

Горбатюк подбирается всей своей довольно осевшей фигурой:

– Так точно. Гвардии майор запаса.

– Ай-яй-яй! – притворно сожалеет капитан. – Товарищи фронтовики! В День Победы и такие оскорбления! Как вам не стыдно! Что у вас такое случилось? А ну, Семенов, дай-ка протокол.

Младший лейтенант подает лист бумаги и с важностью поясняет:

– Политические выпады, товарищ капитан.

– Так, так, так... Так, – приговаривает капитан и быстро пробегает глазами по строкам протокола. – Так! Гм! Да глупости это все! Чепуха! Глупая ссора. Курам на смех...

Младший лейтенант хмурится и смущенно краснеет.

– И такими пустяками вы морочите мне голову? – наконец спрашивает у него капитан. – Пустячное дело. Согласен, Семенов?

– Так точно. Я думал...

Поскрипывая новыми сапогами, капитан проходит вдоль нашего притихшего ряда.

– Ну что вы, как дети? Ай-яй-яй! Фронтовики! Стоит ли сводить старые счеты? Да в такой день? Мало ли что, может, и было в войну. Так стоит ли вспоминать? Столько лет! Миритесь и – с Богом. Даже протокола писать не будем.

– Нет! Пишите. Раз мы тут оказались, то все пишите, – говорю я.

Меня поддерживает Игорь:

– У нас не ссора. Мы принципиально.

Капитан подходит к нему и останавливается:

– Бросьте вы! Какие там принципы! Ну, выпили и поспорили. Завтра проспите – самим

стыдно будет.

– Мы не пьяные.

– Ну тогда просто вы злые. Молоды и злы... Ай-яй...

– Мы не злые! – говорит Эрн. – Мы за справедливость! Должна же быть хотя бы элементарная справедливость.

– Справедливость? Это похвально. Почему же тогда вы оскорбили этого гражданина? Он же вам в отцы годится.

– Не обо мне разговор! – со страдальческим оттенком в голосе отзывается от порога Горбатюк. – Я докладывал и просил записать: они допустили выпады против органов.

Капитан умолкает и, осторожно шагая блестящими сапогами, направляется к Горбатюку:

– Каких именно органов?

– Органов! – твердо произносит Горбатюк. – Вы понимаете каких.

– Враки, – говорю я. – Этого не было.

Капитан останавливается посреди комнаты. Губы его строго поджимаются.

– Нет, было! – горячится Горбатюк – Я не могу тут при всех повторить, что он говорил в ресторане. Но я напишу. Если вы не примете соответствующих мер, я напишу куда следует.

Капитан делается строгим. Добродушный его тон меняется на отрывистый:

– Свидетели есть?

– Я свидетель! Я человек особого доверия. Этого достаточно.

– Вы ошибаетесь, гражданин. Этого недостаточно. Не те времена.

Мною овладевает злорадство. Ага – правда за нами. Черта с два он нас проглотит! Подавится! Он только играет на нервах. Проклятый бериевский рудимент. Из какой только щели он выполз? Прилив гнева и решимости подхватывает меня из ряда и толкает к злему, раскричавшемуся Горбатюку.

– Слышал? Не те времена! Ты немного опоздал, провокатор!

Я едва владею собой. До боли в орбитах округляются мои глаза. И сжимаются кулаки. Сзади кричит младший лейтенант:

– Гражданин! Прекратить! Сейчас же отойдите на место!

Но потное лицо Горбатюка также в ярости. С ненавистью он подскакивает ко мне:

– Возможно! Твое счастье. Я опоздал! А то бы я сломал тебе хребет! Не таким ломал. Жалко, мало! Не всем. Остались...

Мои кулаки становятся вдруг тяжелыми. В глазах туман, и в этом тумане – не Горбатюк – Сахно. Сзади требовательный, суровый окрик, которого я уже не слушаю. Кто-то подскакивает сбоку, чтоб схватить меня за руку, но я опережаю и, подавшись всем корпусом, бью его в челюсть.

Дальше – крик, визг. Горбатюк бросается на меня. Но его уже хватают. Меня схватили за руки раньше. Возле плеча нахмуренное лицо старшины. Я не вырываюсь. Я его больше не ударю. Это один раз. И – странно – мне становится легче. Я быстро успокаиваюсь. Рядом слышу одобрителное «правильно». Это Эрн.

А он еще рвется из милицейских рук. Но напрасно. Хлопцы держат крепко.

– Это безобразие! Дайте мне начальника отделения! Я буду жаловаться!

Молодежь возле стенки оживляется.

– Сколько влезет!

– Ведь труп же! Воняет, а не выносят. Почему их терпят? Почему так долго не выносят? – быстро говорит Эрн.

– Надеются, что сами выползут! – отвечает ей Теслюк.

Горбатюка сажают в угол на табуретку. Его держит молодой милиционер. Капитан строго обращается к молодежи:

– А ну, марш отсюда!

И ко мне:

– А вы останьтесь. Мы вас оформим.

Хлопцы и Эрн нерешительно топчутся у стены, с сочувствием поглядывая на меня.

Капитан повышает голос:

– Вам ясно или нет? Освобождайте мне помещение! Живо!

С его лица исчезает и след недавнего благодушия. Теперь это лицо не обещает добра. Но это уже касается только меня.

– Ладно, счастливо, – говорю я ребятам и Эрне.

Игорь первый делает шаг в мою сторону:

– Дайте вашу руку.

Он молча и твердо жмет мне пальцы и отходит. Эрн, улыбаясь, подает мягкую теплую ладошку.

– Не бойтесь!

– Пустяки! Я не боюсь. Счастливо вам!

С заметным облегчением они пропускают Эрну и закрывают за собой дверь. В комнате сразу становится просторнее. За стол садится капитан. Сосредоточенно прикуривает от зажигалки. Подвигает к себе бумагу.

– Ну, фронтовички! Подали пример молодежи! Очень красиво! Что ж, теперь я разберусь с вами.

Глава тридцать третья

«Mine» – предупреждает надпись на доске, прибитой к палке, торчащей на краю дороги. Надпись не сняли – значит, наших тут не ждали, мы первые. Это, конечно, хорошего не сулит. Но танковые части все же где-то прошли. О том свидетельствует грохот боя, который слышится впереди. Там же, низко над горизонтом, вьется карусель «Илов», которые штурмуют немцев. Слева, далеко за балкой, видны длинные приземистые строения пригородного совхоза. Под их стенами – машины и повозки. Там немцы. Мы останавливаемся, кладем на снег Юрку. Сахно выдергивает из снега палку, ногой отрывает от нее доску, которую швыряет в снег. Затем с палкой в руке поворачивается к нам.

– Так! Пойдем через минное поле! – решает он и по очереди, будто испытывая, исподлобья оглядывает каждого.

Катя вскидывает голову:

– Вы в своем уме?

– Не ваше дело. Я с вами не шучу. Я приказываю! – уставившись в дорогу, мрачно объявляет Сахно. – А если кто дрейфит, говорите сразу. Я найду другой выход.

Мы все молчим. Я не совсем понимаю его. Если бы он отправлял нас одних, то все было бы ясно. Но ведь по минному полю придется идти и самому.

– Пошли вы к черту! – в гневе кричит Катя. – Вы же всех поугробите! И раненых. С ума вы сошли!..

Сахно терпеливо выслушивает Катю, стоя вполоборота к ней, и брови его оседают все ниже.

– Я приказываю, а не советую. А в армии полагается подчиняться. Опять же, кроме как через мины дороги у нас нет. Немцам живыми я вас не оставляю.

В глазах его железная твердость. Набычив голову, он пронизывает Катю острым, недобрый взглядом.

– Почему это немцам? Если оставлять, то обязательно немцам? – говорит Катя.

Сахно, сжав челюсти, что-то обдумывает. Наступает мучительная пауза, и, чтобы разрядить ее, я говорю:

– А не подорвемся?

Сахно отвечает не сразу:

– Подорвется один – вперед пойдет другой. А вы как думали?

Самонадеянности у него с избытком. Будто перед нами не минное поле, а учебный плац. Но что делать – податься больше в действительности некуда: с трех сторон немцы. Авось проскочим. Капитан тем временем, бережно держа за пазухой раненую руку, поворачивается к нам:

– Ну! Кто первый?

Мы притихли и молчим. Глядим каждый себе под ноги. Одна Катя, несколько не теряясь, злым взглядом меряет немца:

– Если так, пусть фриц! Их мины. Пусть по ним и топает.

Сахно несогласно бьет палкой по снегу:

– Ну да! Фриц тебя заведет!

Может, и так. Может, и заведет. Или бросится наутек. Догоняй тогда по минам. Может, и вправду пускать его первым нельзя. Но тогда кого? Не Катю же! И не меня. У меня нога

сразу две мины зацепит. Остается танкист.

Исподлобья я тайком поглядываю на этого чернявого парня. Сахно же почти в упор смотрит на него. Танкист нерешительно мнетя, поглядывая в сторону, но видно, чувствует, что первым придется идти ему.

– Вот так! – говорит Сахно. – Берите палку и марш.

Танкист вяло закидывает за спину автомат и промазученной рукой молча берет палку. Капитан, посторонившись, пропускает его вперед на снежную целину.

– Так. Дистанция пятьдесят метров. За ним пойдете вы! – тычет он в меня и прикрикивает на танкиста: – Быстрей! Не взорвешься.

Мы сворачиваем в степь, к трем скифским курганам, что возвышаются поодаль белыми шлемами. Юрка на этот раз достается Ангелю, который без приказа взваливает его на себя. Начинается поземка. Снежные пряди, вырываясь из-под ног, далеко расползаются по полю. Повсюду в степи дрожат на ветру стебли бурьяна. Невысоко в небе сквозь белесую дымку сиротливо блестит зимнее солнце. Я стараюсь идти по следам танкиста. За мной идет Катя. За ней – согнутый под тяжестью ноши немец. Сахно замыкает пятерку.

Внутри у меня все напряжено. Дыхание поверхностное – чуть-чуть. Идешь как по лезвию бритвы, как по горячим угольям. Все время надо глядеть под ноги, чтоб ступать след в след. А глаза невольно устремляются вперед, туда, к танкисту, где – неизвестность и смерть. На заметенной снегом земле действительно кое-где видны старые следы, они едва заметны. Мины же все в снегу, который тут не глубок – до щиколотки. Отличная маскировка!

Порядком отойдя от дороги, танкист останавливается и, поворошив палкой в снегу, вываливает на поверхность что-то большое и круглое. Это мина. Сзади кричит Сахно:

– Не трогай! Не трогай! Марш вперед!

– Противотанковая! – басит танкист и, пренебрежительно толкнув ногой это смертоносное колесо, идет дальше.

На сердце у нас немного отлегло. Если мины противотанковые, то еще полбеды. Под нами они не взорвутся. Если только нет противопехотных. Тогда, считай, нам повезло.

Танкист впереди, вижу, оживляется. Движения его делаются менее скованными. Видно, и у него поубавилось страху. Парень шагает шире. Я же, хромая, не могу поспевать за ним и постепенно отстаю. Но сзади меня подпирает Катя. Слишком вырвавшись вперед, танкист замечает это и останавливается.

– Шире шаг! Ни черта тут нет! – бодро говорит он издали.

Я стараюсь шагать быстрее, и вдруг все во мне обрывается. Громовой взрыв, кажется, низвергает небо. Что-то со свистом проносится вверху. От неожиданности я приседаю, вскинув над головой руки. В сотне шагов впереди зияет черное рваное пятно на снегу.

Облако дыма и пыли, быстро редая, стелется по полю. А танкиста нет. На том месте, где он только что был, – вывороченные комья мерзлой земли и груды снега. В следующую секунду я оглядываюсь. Сзади все лежат, но, кажется, живы. Приникли к земле и замерли.

Меня обдает холодным потом. Рот полон горькой слюны. Становится тихо-тихо, и в этой тишине откуда-то из-за балки, от совхоза доносится далекая пулеметная очередь.

Первой вскакивает Катя. Снова, как и в хате, она решительно по-мужски ругается:

– Растакую твою!.. Куда завел? Куда ты нас завел, сволочь!

Сахно приподнимается на одно колено и стоит, вобрав голову в плечи.

– Вперед! – неистовым басом заглушает он крик Кати. – Вы, вперед!

– Ах, теперь я вперед? Меня гонишь! Самому страшно? Не хочется умирать? Детей

жалко? Ласковой женушки?

Сахно, сжав челюсти, ждет. Катя кричит. Я молчу. По справедливости идти первым теперь надо мне. Но решиться на это непросто. И я оттягиваю время. Мне нужен приказ. Но приказ он отдает Кате. И, видно, не намерен его менять.

Не сводя осатанелого взгляда с девушки, он дрожащей рукой вырывает из кобуры пистолет.

– Гад ты! Душегуб! Думаешь, я боюсь? За себя дрожу? Догоняй, гад! – кричит Катя и срывается с места. Бегом она достигает воронки и, ни секунды не медля, бросается дальше. На сером, запорошенном землей и гарью снегу пролегает ровная цепочка ее свежих следов.

Какое-то время мы еще стоим, не в состоянии превозмочь нерешительности. Но вот из совхоза снова строчит настырная очередь. Несколько пуль, взвизгнув, прорезают воздух. Это отрезвляет, и мы живо срываемся с места.

Под пулеметный стрекот мы добегаем до неглубокой воронки. Тут мин нет. Но тут хуже, чем на снегу. Тут властвует уже не возможная, а реальная смерть. Смерть товарища. И то, что смерть досталась другому, а не тебе, теперь уж не обнадеживает. Я снова напрягаюсь, стараясь как можно ровнее ступать в Катины следы. Под ногами какой-то лоскут обмундирования, сбоку из снега торчит кость – кроваво-белая на земляной серости. Поодаль, отброшенный взрывом, валяется черный шлем танкиста. Это все, что осталось от человека. Остальное растерзано и разметано с землей и снегом.

Но Катя почти обезумела. Что она делает? Без палки, не разбирая дороги, она быстрым шагом, иногда бегом, без всякой предосторожности приближается к недалекому уже кургану. Будто ей известно, что там конец минного поля. Сахно что-то кричит ей, но она даже не оглянется. И мы идем по ее следам. Мы должны идти. Остановиться тут невозможно.

И происходит чудо. Катя целой и невредимой достигает кургана. Останавливается, поворачивается к нам и стоит. Во всей ее маленькой фигурке – вызов и укор. По полю к ней бежит спасительная для нас цепочка следов.

На сердце становится спокойнее. Я прибавляю шагу и вскоре догоняю ее. За мной спешит немец с Юркой на спине. Он умирился и прямо-таки шатается. Видно умышленно отстав, сзади за всеми бежит Сахно.

– Разминировано! Куда дальше? – спокойно, но с оттенком недавнего гнева говорит Катя.

И мне почему-то неловко смотреть на ее покрасневшее, злое лицо. Конечно, мы виноваты перед ней, перед ее безрассудной смелостью, которой теперь обязаны жизнями. Но в этом не хочется признаться даже себе.

Минуту мы стоим рядом. Немец из-под Юрки старается взглянуть вперед. Юрка ничком распластался на его широкой спине. Серое лицо друга повернуто набок. Глаза чуть-чуть приоткрыты.

Тем временем нас настигает хмуро сосредоточенный Сахно. В пятидесяти шагах он останавливается и командует сорванным голосом:

– Василевич, вперед!

Да, теперь ничего не скажешь. Теперь должен идти я. Властная требовательность капитана полностью подчиняет меня. Я пойду.

Только куда вперед?

Приплюснутый пригорок от кургана покато спускается вниз. Из совхоза нас уже не

видно. Несколько в стороне и сзади в неглубокой низине пролегает насыпь железной дороги. В насыпи чернеет круглое отверстие дорожной трубы.

– Вперед! – с пистолетом в руке яро требует Сахно.

Иду, иду. Я и сам чувствую, что надо идти! Надо вырваться из этого проклятого поля. И как можно скорее.

С еще большей, чем прежде, осторожностью я шагаю по снегу. Мой сапог грузнет до голенища. Раненая стопа в рукаве неуклюже загребает снег. Катя отправляется следом.

Сзади опять раздается голос Сахно:

– Дистанцию! Дистанцию!

Девушка огрызается, но приостанавливается, позволяя мне отойти дальше. Правда, мне вовсе не хочется отрываться от них. Как-то вместе со всеми спокойнее. Стараясь шагать как можно осторожнее, я осматриваю перед собой снег. Чужих следов тут, кажется, нет. Кое-где снег спрессован метелью до твердого наста, и я невольно выбираю ногами эти места. На них мне спокойнее и не так грузнут ноги.

Исподволь укрепляя в себе уверенность в удаче, я перехожу гривку бурьяна, в которой, тихонько пересыпаясь, шуршит снег, и оглядываюсь. Уже не видно и будки обходчика. Мы в лощине. Надо бы идти быстрее, но боль в ноге не дает шагать шире. К тому же со стопы сползает рукав. Остановившись, чтобы подтянуть его, я наклоняюсь и вдруг застываю в ужасе. Моя рука сама по себе, словно обжегшись, испуганно отдергивается. Из снега возле ноги, смертоносно напрягшись, торчат в стороны три проволочных усика. Между ними, словно шляпка гриба, выпирает из-под снега круглая зеленоватая крышка «шпрингмине».

Почувствовав, как похолодело внутри, я резко отстраняюсь. Но выпрямиться уже не успеваю. Трескучий взрыв гулко раскатывается сзади. Осколки или комья снега жестко хлещут по полам моей шинели. Я едва удерживаюсь, чтобы не опрокинуться на те предательски вытянутые усики.

Какую-то секунду затем я медлю, хотя уже знаю, что произошло страшное. Но я не могу оглянуться сразу, так как это сверх моих сил. Смысл того, что случилось, будто издали, медленно доходит до моего сознания. Только через какое-то время, преодолев оцепенение, я поворачиваюсь. Невдалеке с Юркой на сгорбленной спине, широко расставив ноги, стоит немец. За ним, ссутулясь, ждет чего-то Сахно. А между ними и мною корчится на снегу Катя.

Ноги мои вдруг наливаются неодолимой тяжестью. С усилием и необыкновенной осторожностью я вытягиваю из снега раненую стопу, затем сапог здоровой. Переступаю назад – след в след. Затем, высоко поднимая колени, ступаю еще. Нет, пока не рвет. Тогда, немного осмелев, бросаю взгляд на Катю. Там снова черная копоть на снегу. Комья земли. Катя, беспорядочно перебирая вокруг себя руками, кажется, пытается встать.

Меня охватывает гнев. Гнев против Сахно. Ведь это он виноват во всем. Он погубил Катю! Захлебнувшись от обиды, я порываюсь к капитану, но все мои намерения гасит Катя. Девушка судорожно поднимает навстречу свое широкое, теперь особенно некрасивое лицо. Его перекашивает гримаса боли. Зубы у нее сжаты. И внутри глохнет стон.

– Катя! Катюшенька! Катя!..

Упав перед ней на колени, я хватаю ее за плечи, потом за талию. И вдруг понимаю: ноги! Из рассеченного осколками валенка льется на снег теплая кровь. Другого валенка нет вовсе. Впрочем, нет и ноги до колена. Страшный, измочаленный взрывом мокрый обрубок. Ватные штаны и полы полушубка безжалостно иссечены осколками. Из множества дыр торчат

кочья ваты и шерсти.

К нам подбегает немец. Дрожащими руками я приподнимаю девушку. Но что с ней делать? Кровь льется по моим рукам, в рукава, на шинель. Немец также беспокойно суетится и бормочет:

– Римен! Римен!^[6]

Он подает мне узкий брючный ремешок, и я понимаю: надо наложить жгут. Катя, сжав зубы и подавляя стон, закидывает голову, но молчит. Ее лицо на глазах белеет и быстро покрывается мелкими капельками пота.

Суевливыми движениями озябших рук я кое-как перетягиваю над коленом то, что осталось от ее ноги. Немец тем временем отстегивает, ремень от моего карабина. Этим ремнем мы кое-как обкручиваем вторую ногу, в валенке. Потом я вскидываю голову. Напротив, опираясь рукой о колено, стоит Сахно.

– Ну, доволен? Доволен? Ты этого хотел?

Сахно резко выпрямляется. Быстро оглядывается вокруг и молчит. Но я вижу – глаза его расширяются и как-то глупеют, теряя свое всегдашнее выражение властности. Он растерялся. Но тут же волевым усилием он преодолевает себя и опять становится прежним – суровым и решительным.

– Замолчи! – с тихим бешенством шипит он и приказывает: – Бери Катю! Живо!

Да, пожалуй, надо уходить. Два взрыва на минном поле вряд ли остались незамеченными. И я подчиняюсь Сахно, уже зная: на мины мы больше не пойдём.

Опершись на карабин, я наклоняюсь. Сахно с немцем взваливают на меня обмякшее тело Кати. Затем они подбегают к Юрке, который покорно лежит на снегу. Его берет на себя Сахно. Я не совсем понимаю, что он задумал. Видно, не понимает этого и немец, которому капитан что-то объясняет.

Наконец догадавшись, немец налегке отбегает полсотню шагов и оглядывается. По его следам медленно трогается Сахно. За ним, опираясь на карабин, я.

По неглубокой впадине мы тащимся назад, к железной дороге.

Глава тридцать четвертая

Но за железной дорогой по шоссе движутся немцы.

Мы их не видим за насыпью, однако еще издали слышим – множество машин без конца ревет, гудит, воеет моторами, сигналист – рвется из Кировограда. Они отступают. Но куда деться нам?

На счастье или на беду нам попадается труба.

Мы заползаем в ее бетонный туннель и обессилено падаем в самом начале. Труба широкая, почти в рост человека. Внизу пласт спрессованного снега. Тут очень ветрено, пронизывающе холодно. Зато с шоссе нас не видно.

Опустившись на колени, я сваливаю с себя Катю и тут же падаю сам. Сзади на свежем снегу – мелкие пятна крови. Полы моей шинели также в подмерзшей крови. Катя просто истекает кровью. Глаза ее широко раскрыты, но зрачки все время закатываются. Ее надо перевязать. Но перевязать нечем. Санитарную сумку мы в спешке оставили в поле, на месте взрыва. Чтобы как-нибудь помочь девушке, я вконец замерзшими руками начинаю расстегивать снизу ее полушубок. Там также все в крови. Катя как-то сжимается, руками упрямо придерживает полы. Глаза ее умоляюще, почти в страхе глядят на меня.

Я снова настойчиво расстегиваю на ней полушубок, но девушка сводит колени, подтягивает их к животу и сжимается.

Я не понимаю ее и вопросительно гляжу на немца. Тот, стоя на коленях, пристально смотрит в другой конец трубы, где с пистолетом в руке замер Сахно. У наших ног на снегу, тихо стонет Юрка.

– Капитан! Капитан! – приглушенно зову я.

Катя вдруг начинает дергаться и протестующе мотает головой. Кажется, я начинаю понимать ее. Но это уже черт знает что!

– Перевязать надо! – говорю я. – А ну пусти руки!

Пригнувшись, по трубе пробирается Сахно. Катя еще больше сжимается и дрожит всем телом.

– Вот, не дается.

– Да? – поглядывая на выход и, видимо, думая о другом, переспрашивает Сахно.

Катя расслабляется. Серая тень ложится на ее еще недавно краснощекое лицо. И тут я понимаю: она умрет! Но это нелепо и противоестественно – погибать девушке, если мы, трое мужчин и солдат, остаемся живыми!

– Катя! Катя! Что ты делаешь? – начинаю я невнятно упрекать ее. – Ты что – стыдишься?

Катя прерывисто, тяжело дышит и умоляюще смотрит на меня. Кажется, она слышит, только говорить не может. Потом взгляд ее устремляется куда-то в сторону и останавливается на немце.

Я догадываюсь:

– Он, да? Пусть он перевяжет? Да?

Катя протяжно выдыхает и расслабляется. Глаза ее медленно закрываются. Я не знаю – или это согласие, или, может, силы насовсем оставляют ее. Почти в испуге я зову немца:

– Ком! Перевязать! Бинтовать, ферштейн?

– Я, я.

Немец начинает торопливо расстегивать на ней одежду: полушубок, ватные брюки –

окровавленные, иссеченные осколками клочья. Катя тихо лежит, безразличная к его прикосновениям, и я начинаю помогать ему. Вдвоем мы, не стесняясь, обнажаем Катино тело – окровавленное, израненное девичье тело, которому уже не жить. Это я понимаю сразу, с первого взгляда.

Впрочем, принять смерть тут, наверное, придется всем.

Мы еще не заканчиваем перевязку, как где-то поблизости раздаются немецкие голоса. Сахно с пистолетом в руке сразу бросается в дальний конец трубы. Отшатнувшись от Кати, я хватаю вдавленный в снег карабин и устремляюсь туда же. Сзади пробует приподняться Юрка.

Вобрав головы, мы прислоняемся спинами к настывшему бетону трубы и вслушиваемся. Я медленно снимаю затвор с предохранителя, то и дело поглядывая на второй выход. Однако там пусто. Юрка держит в кулаке пистолет и не сводит с нас полного тревоги взгляда. Его глаза резко горят на бледном, каком-то уже не юношеском, слишком сосредоточенном на чем-то своем лице. Немец, в неудобной позе, настороженно ждет возле Кати.

Отчетливо слышится немецкая речь, потом голоса умолкают. Настает тишина, в которой натужно гудит, грохочет шоссе. Сахно осторожно выглядывает из трубы и тут же резко отскакивает.

Совсем рядом слышится:

– Верден унс ди панцер ниht бис цум абенд цердрюккен, зо шлюпфен вир дурьх^[7].

И в ответ несколько дальше:

– Мит дем оберст фон Майер верден вир унс шон дурьхшлаген. Об тод одер дебендиг цвинтер унс дацу^[8].

Это уже плохо. Они возле самой насыпи. На дороге, слышно, брякают дверцы кабины, значит, машины стоят. Но другие идут, видно, остановилось несколько. Только зачем?

Меня пугает немец. Наш Энгель. Его лицо напряженно вытянуто, в глазах не то страх, не то последняя степень решимости. Руки ладонями лежат на снегу, как у спринтера на старте. Того и гляди бросится наутек. Я круто поворачиваю карабин:

– Хальт!

Немец бросает на меня бессмысленный взгляд и опускается. Ноги его расслабляются. Черт, наверное, надо бы его пристрелить. Да стрелять нельзя...

И тут все оттуда же, от насыпи, долетает новый звук – слабое бряцание солдатской пряжки. Оглушенный обидной догадкой, я осторожно выглядываю. Так и есть. Сделав свое дело в кювете, два немца торопливо сворачивают к шоссе. На ходу застегивают амуницию. Они увешаны катушками с кабелем. Очевидно, снимали связь.

Разом потеряв силы, я бреду к Кате. Возле нее падаю в снег. Потом, кое-как совладев со своими чувствами, поднимаю голову. Катя умирает. Я знаю, как умирают люди, и в этом, пожалуй, не ошибаюсь. Она напрягается, дергается, выдыхает. Голова ее неестественно запрокидывается, русые волосы разметаны на снегу. Глаза полуоткрыты. Рукой она раза два машет возле лица, словно отгоняя мух.

И вдруг говорит:

– Отойди. Не темни.

Меня это удивляет. Так трезво и так внятно! Невольно я оглядываюсь. Кто темнит? Я? Или немец?

Она говорит снова:

– Митя! Митенька! Темно очень...

– Катя!

Но она выдыхает и успокаивается. Глаза ее задерживаются на чем-то вверху, взгляд постепенно угасает. Опершись на руку, я сижу рядом. С другой стороны сидит немец. Лицо у него окаменело. Он весь напряжен. И не удивительно: в каких-нибудь двухстах метрах свои. Стоит ему закричать, и нас схватят. Но он не кричит. Мне даже кажется, что он не менее нас боится.

А мне уж, пожалуй, ничего не страшно. Смерть Кати меня ошеломляет. Сколько уже погибло на моих глазах – знакомых и неизвестных, но я никогда не раскисал так. Возможно, потому, что они были мужчинами и солдатами. Как-никак к их смертям мои чувства были подготовлены. Смерть на войне – очень простая штука. Но почему здесь умирает девушка? Кто ее послал на войну и зачем? Разве что сама напросилась? Но что она знала о войне? То, что писали газеты. А умирает вот в какой-то трубе, растерзанная миной, и мы ей ничем не можем помочь. И зачем это нужно? Разве у нас мало мужчин? На передовой, в тылах, в стране вообще? На каждый десяток в цепи – добрая сотня в ближних тылах. И каких мужчин! Зачем же под смерть подставлять девчат?

– Документы забрали? – спрашивает вдруг Сахно и опускается на колени рядом.

Я не отвечаю. Кому что, а этому первое дело – документы. Для него главное – соблюсти формальность. Документы не должны попасть к врагу. Но что в тех документах? И кому они теперь нужны? Ее жизнь он не берег, а вот о бумажках гляди, как заботится.

Сахно тем временем засовывает руку под Катин полушубок и долго там шарит. Я на него не гляжу. Без раздражения я не могу видеть этого. Теперь она мертвая, и ей все равно. Но будь она жива, засветился бы у этого капитана фонарь под глазом.

Вынув из нагрудного кармана красноармейскую книжку, Сахно заглядывает в нее.

– О, Щербенко Екатерина Ивановна. Знакомая фамилия! – с ехидной ухмылкой сообщает он.

Я напрягаю память. Действительно, фамилия и мне кажется знакомой. Только где я ее слышал? Я вопросительно смотрю на Сахно. Тот, запихивая в карман документы, замечает мой взгляд.

– Не припоминаете? Пэпэжэ комбата Москалева из девяносто девятого, – говорит он и направляется в другой конец трубы. – Приказ по дивизии был.

Похоже, это его забавляет. Что она пэпэжэ и что был приказ насчет ее недозволенных отношений с комбатом Москалевым. Он доволен, что хоть после смерти нашел, чем упрекнуть ее.

– Ну и что? – едва сдерживая себя, спрашиваю я.

Сахно, оглянувшись, сверкает из-под бровей злым взглядом, и я срываюсь:

– Ну и что, если и пэпэжэ? Ну и что?

– Замолчите! Вы что?

Он замирает, вобрав голову в плечи, и внутри у меня все опадает. Я едва владею собой. Видно, он меня доведет до бешенства. Я не могу его терпеть. Странно, какие мы разные! Офицеры одной армии. Граждане одной страны. Черт его знает, отчего все это? Почему соседство вот этого немца мне легче сносить, чем его?

Немец встает и тоже идет туда, где Сахно. Я уже заметил, что с недавнего времени он вообще старается держаться поближе к капитану. Мной как будто стал пренебрегать. Жестикулируя костлявыми руками, он произносит какую-то длинную фразу.

Сахно устрашающе взмахивает пистолетом:

– А ну назад! Назад!

Немец отступает, но все еще что-то старается доказать капитану. Тот, разумеется, не понимает, но настораживается:

– Что он говорит?

– Он же вам говорит. Вы и должны понимать.

Капитан хмурится:

– Ну, знаешь!.. Я институтов не кончал. Этой гадости не учился.

Конечно, этой гадости он не учился. Чему он вообще учился? В школе я также не увлекался немецким языком, но горе и война научат всему. Несколько слов, произнесенных немцем, я все же понимаю. Про остальное догадываюсь. Немец доказывает, что надо куда-то убежать, ибо если начнется бомбежка (шлахтангриф), то солдаты (лес реннен децкунг) – побегут сюда, в укрытие.

Это похоже на правду. Но пусть начнется штурмовка. Хуже, если штурмовики не налетят и колонна прорвется из Кировограда. А может, и хорошо? По крайней мере для нас. Черт знает, что делается в моей голове. Я уже не могу разобраться, что хорошо, а что плохо.

Немец невесело возвращается от капитана и молча садится около Юрки.

– Вот налетят «ИЛы» и сделают из ваших мясокомбинат! – не скрывая своей злости, говорю я немцу.

Тот, неожиданно соглашаясь, кивает головой:

– Я, я.

Это меня злит еще больше. Скажи, какая покорность! Может, этот фриц сейчас скажет, что он коммунист? Что с колыбели был против Гитлера? Бывало же такое. Сорок четвертый – далеко уже не сорок первый.

– Мы же вас перещелкаем, как вшей! Понимаешь? К ногтю! – красноречиво показываю я пальцами. – Вокруг гебт ойх ниht гефанген?^[9]

Немец, кажется, понимает, но почему-то морщится и тихо про себя бормочет:

– Вир зинд айнфахе зольдатен!! Ден криг бефильт дер фюрер унд ди генерэле^[10].

Эта их песня мне уже знакома.

– Ах, фюрер? А сами? Сами вы что делаете? Пленных добивать вас тоже заставляет фюрер? Посылки с награбленным в Германию посылаете тоже по приказу фюрера? Вон целый эшелон в Знаменке остался. Фюрер разрешает, вы и рады. Вас это устраивает. Вы айнфахер менш, конечно.

Немец вздыхает. Чем-то он озабочен или, может, чувствует мое бешенство и побаивается. И он сидит так, надувшись, в русской помятой шинели, одетой поверх своего широкого в воротнике мундира. Его зимняя, с длинным козырьком шапка сбилась набок. Вдохнув, он соглашается:

– Я, я, их бин айн айнфахер менш!

– Что он говорит? – издали опять спрашивает Сахно.

– Говорит, что он маленький человек. Ни в чем не виноват.

– Задушить его надо, – просто решает капитан.

Я не возражаю. Черт с ним, пусть душит. Теперь мне его не жалко. У меня столько накопело в эти дни за Юрку, за себя, за всех ребят, которые уже никогда не встанут со снега. И особенно теперь вот за Катю. Только без немца мы, пожалуй, не управимся с Юркой. Сахно однорукий, я, считай, одноногий. А если придется удирать? Нет, видно, немца надо

оставить. К тому же к своим он вроде не очень стремится.

Однако я молчу, начиная думать о другом. Хорошо, если мы просидим тут до ночи. Ночью мы, может, и вырвались бы, а днем-то уж вряд ли. Разве что откуда-нибудь появятся наши. Я прислушиваюсь: кажется, на дороге стало тише – колонна будто прошла. Теперь не двинулась бы пехота. С ней будет хуже.

Сахно тем временем разряжает пистолет. У него, вижу, какая-то неисправность с магазином. Зажав меж колен рукоятку, капитан одной рукой исправляет его. А я уныло сижу возле Кати. Она уже, видно, остыла, скорчившись на снегу. С другой стороны синее восковое лицо моего Юрки. Тут очень холодно, в этой проклятой трубе. И все внимание сосредотачивается на звуках.

– Василевич! – тихо зовет Сахно и, умолкает, то ли прислушиваясь, то ли что-то обдумывая. – Залазь-ка на насыпь и понаблюдай. А то накроют еще. Как цыплят.

Помедлив, я беру карабин и вылезая из трубы. Солнечная яркость степи ослепляет. Освещенный солнцем, сияет широкий откос насыпи. Сбоку от него из-за дальнего пригорка проступают крыши строений. Там какое-то село. Вдруг у меня появляется мысль... А что если вдоль насыпи проскочить туда? Конечно, если, там нет немцев? Только вот Юрка...

Прежде чем лезть на насыпь, я говорю в трубу:

– Немца пока не трогайте. Пригодится.

Сахно оглядывается, но не отвечает.

Глава тридцать пятая

Присыпанный снегом откос шуршит под локтями прошлогодней, жесткой от мороза травой. Обжигает лицо северный ветер. Ноги скользят, и я, упираясь руками и коленями, лезу наверх. Позади минное поле с курганами и длинной цепочкой наших следов. Правда, я туда не смотрю – кажется, я чувствую его спиной. Нелепая попытка Сахно перехитрить смерть обошлась нам чрезмерно дорого и самым большим страхом продолжает жить в моей душе.

Достигнув бровки, я поочередно поглядываю в оба конца железной дороги. Кажется, на полотне – никого. Тогда, приподнявшись, выглядываю из-за широкого промазученного рельса.

О, шоссе просто гудит от движения – правда, теперь там вместо машин – обозы. Немецкие фуры, открытые и под брезентом, двуколки, кухни, какие-то повозки, доверху набитые имуществом и туго увязанные веревками. Ржут, бряцают удилами кони. Две черные легковые машины, настойчиво сигналивая, медленно прокладывают себе путь по обочине.

Хорошо, что от железной дороги до шоссе не очень близко, а то бы они уже добрались до нас.

Немного присмотревшись, я прячу за рельс свою забинтованную голову. В душе коротенькое удовлетворение от того, что я их вижу, а они меня нет. Впрочем, эти обозники вовсе не смотрят по сторонам, наверно, им теперь не до окрестных пейзажей. Им бы как-нибудь вырваться из котла, если только еще остался проход.

Снова высовываюсь, удивленный какими-то криками, и сразу же замираю в любопытстве: на шоссе драка. Одна повозка разворачивается поперек движения. Какой-то немец в короткой шинели хватается за удила коней. Толстозадые неуклюжие битюги высоко вскидывают головы. Он бьет их снизу по мордам. К нему тут же соскакивает с повозки ездовой, и вот на шоссе – крик, солдатская ругань. Тот, что в короткой шинели, бьет ездowego по уху, ездовой хватается противника за грудь. Несколько повозок останавливается, несколько пробует объехать их. Кажется, вот-вот образуется пробка. Это здорово, думаю я, и поглядываю на небо: вот бы теперь самолеты! К сожалению, самолетов нет, только сзади, за курганами, невысоко кружит рама. Но и так неплохо: не каждый день приходится видеть, как дерутся между собой немцы.

Правда, они не успевают надавать друг другу, как между повозок появляется всадник. Плотно сидя в новеньком желтом седле, он без лишних слов размахивается из-за плеча кнутом и чинит скорую расправу над обоими. Это незамедлительно действует. Тот, в короткой шинели, куда-то исчезает, а ездовой, ругаясь, начинает сворачивать с обочины повозку.

И тут, глянув в сторону, я вздрагиваю – от будки по линии идут немцы. Они уже близко, и, видно, заметили меня. Крутнувшись на мерзлой земле, я быстро соскальзываю по откосу вниз, до самой трубы. Над трубой, разворотив каблуком снег, на секунду задерживаюсь. Немцы идут по другой стороне линии. Отсюда мне видны только винтовочные стволы на их плечах да каска переднего. В сознании мучительный вопрос: заметили или нет? Если заметили, тогда все кончено: надо стрелять. Придется драться и погибнуть. Возможности спастись у нас почти нет. Но я жажду надежды. А может?.. А может, не увидели?

И вдруг до слуха, будто откуда-то издалека, доносятся из трубы голоса. Сначала я не

понимаю их смысла – я только дрожу от напряжения, до судороги сжимая в руке карабин. Затем слышу слова, которые повергают меня в замешательство:

– Ленька! Лень!..

Меня зовет Юрка. Что с ним? Но ведь там Сахно. И действительно, я слышу, как капитан раздраженно шикает:

– Что ты заблажил? Он ушел.

«Я тут, Юр!.. Я не ушел. Почему он говорит: ушел?» – мысленно кричу я, грудью вминая снег возле трубы. Головы немцев скрываются. Остается только одна – последнего. Это на той стороне. Еще немножко, и они все пройдут. Еще секунда...

Но из-за насыпи снова прорывается крик:

– Василевич!

И тут же его заглушает более громкий – Сахно:

– Кончай к чертовой матери! Поимей мужество!..

Они обезумели! Что они делают? Я вскакиваю со снега, и тут нелепо и неожиданно в трубе бахает выстрел.

У меня темнеет в глазах. Кажется, в какую-то бездну проваливается сердце. Что он наделал?! В кого это он? В немца? В Юрку? А вдруг это пленный? Охваченный предчувствием непоправимой беды, я скатываюсь под насыпь. Вскрываю на одну ногу. В другой острая боль, от которой перехватывает дыхание.

В трубе возле Юрки стоит Сахно.

– Что вы натворили? Немцы!!

Сахно с маленьким пистолетом прытко отскакивает в конец трубы. Серым привидением шарахается куда-то Энгель. Зацепившись за Катину ногу, я нечаянно падаю чуть не на Юрку. У самого моего лица – его голова. Из разбитого виска торчит маленькая острая косточка, и красная струйка из-под нее быстро заливает ухо. На снегу возле плеча расплывается розовое пятно крови.

Кажется, я схожу с ума. Перестав что-либо понимать, вскакиваю на колени. «Кто? – кричу я. – Кто его?» Но я не слышу собственного голоса. И мне никто не отвечает. Что же это делается? Кто это? Немец?

Я не обращаю внимания на тех, что уже, видно, над нами, и хватаюсь за карабин. Впопыхах не сразу нахожу рукоятку. В том конце, пригнувшись, замер с пистолетом Сахно. Ждет.

– Кто? – кричу я во все горло.

Но из моей груди вырывается лишь чужой сдавленный хрип.

Сахно оглядывается и неистово машет рукой. Я едва различаю его шепот:

– Замолчи! Не видишь, что ль?

Пожалуй, действительно я чего-то не вижу. Впервые я бросаю на друга несколько осмысленный взгляд. Юрка мертв. Перекошенное смертью лицо. Один глаз с силой приплюснут. Второй бессмысленно смотрит мимо меня куда-то в бетонный потолок. Из обоих висков льется на затылок кровь. И тут я окончательно понимаю, что произошло. Он застрелился.

– Юрка!!

Это последний мой крик. В нем – вся беспредельность отчаянья. Мой гнев и ужас. В следующую секунду, словно удар грома с неба, в трубе раздается выстрел. Снаружи бешено бьет автоматная очередь. Я скидываю карабин. Сахно в том конце падает на снег. Там, где

он стоял» о бетонную стену лязгает что-то круглое и отскакивает к стенке напротив. Граната! Я падаю головой к Юрке. Громовой взрыв сотрясает насыпь.

Оглушенный, я на несколько долгих секунд лишаюсь всех чувств. Все в трубе поглощает горячий удушающий смерч. Легкие захлебываются от снега, пыли и резкого смрада серы. Жгучая боль клещами сжимает колено. Она все увеличивается, растекается по ноге. И охватывает ее всю, от бедра до мизинца. Бедная, несчастная моя нога! Кажется, ее доконали. От боли я не могу шевельнуться и мычу, сжав зубы.

Снежный вихрь тем временем утихает. Я приподнимаю голову. Во рту снег и песок. В ушах и в рукавах тоже. Я щупаю вокруг руками. На пальцах теплая липкая мокрядь. Это от Юрки. Видно, его растерзало гранатой. Рядом чья-то нога в валенке... Где мой карабин? Становится немного светлее, я различаю низ и верх. Напротив исцарапанный и закопченный бок трубы. И светлый круг недалекого отверстия. И вдруг в этом светлом пятне появляется неподвижная тень. Отставленный в сторону локоть. Тонкий, как щупальца осьминога, автоматный ствол. Немец!

Что-то во мне подламывается, и я вытягиваюсь на снегу. Весь ужас положения уже не воспринимается. Явь затуманивается в сознании, и я плохо понимаю, что происходит. Мое тело – ком ваты, пронизанный болью. Голова также набита ватой. Что-то тошнотворное и соленое подступает к горлу. Инстинктивно я сплевываю на снег. Кровь.

Тем временем тень у входа в трубу широко и неслышно шагает ближе. Я лежу ничком и ошеломленно гляжу на нее. Я вижу только силуэт. Знакомый и безликий, как, бывало, зеленая мишень на стрельбище. Ступив шага четыре, он останавливается перед Катей. Он – воплощение испуга и отваги одновременно, этот призрак. Словно сомнамбула в нереальной среде. Просыпается он, когда сзади появляются еще двое. Тогда он скидывает с себя скованность и совсем по-земному кричит:

– Отто! Зи маль! Айне руссише Валькюре^[11].

И со злой решимостью поддевает ногой Катино тело. Оно податливо переворачивается на бок, спиной к свету. Рассыпаются по снегу ее волосы. Одна рука неестественно заламывается за спину. Вдвоем они наклоняются над телом девушки. Первого, однако, тянет дальше, и он, присмотревшись переступает через единственную Катину ногу. И тут вдруг встречает мой взгляд.

– Хенде хох! Ауфштэен!^[12]

Он испуганно отскакивает назад. Однако тут же осмелев, решительно шагает вперед и тычет мне в лицо автоматом. Удивительно, но я ничуть не боюсь. Постепенно ко мне возвращается чувство реального. И я сквозь боль отмечаю: ага, испугался! Если бы знал, не пугался бы. Я уже не могу его убить. Не могу ударить. Я не могу ничего. Жить не могу тоже. Хочешь – стреляй, черт с тобой! Во мне все сгорело от боли, и нету больше сил переносить все это. Да и ни к чему. Пусть убивает скорее!

Однако он не убивает.

– Рус! Ауфштэен! Бистро!

Возле меня уже трое. Один коротко и больно бьет стволом карабина в плечо. Напрягшись, я немного привстаю на руках. Дальше не позволяет боль. Да и незачем стараться. Все равно убьют. Я же знаю. Так пусть убивают сразу. И они тремя парами глаз с холодной враждебностью смотрят на меня. Потом один из них замечает поблизости Юрку. Смазанными чем-то чужим и вонючим сапогами он переступает через меня и наклоняется к покойнику. Я вижу, как он шарит в Юркиных карманах, что-то достает и швыряет наземь.

Потом подбирает из-под ног отброшенный взрывом карабин. Черный мой карабин опять возвращается к своим хозяевам – немцам.

Третий раз они уже не командуют. Они хватают меня за руки и рывком, как мертвеца, выволакивают из трубы. Я понимаю, что все уже кончено. От боли, от солнечного света, а больше от невыразимой обиды я прищуриваюсь. Какой жестокий, нелепый конец! И именно тогда, когда меньше всего его ждал. Оказывается, вот где он был – последний мой Сталинград. Выигранный фронтом, страной и навсегда и непоправимо проигранный мною.

Вскоре, однако, меня больно бросают на твердые под снегом комья земли. Чья-то рука расстегивает и снимает с шинели трофейный офицерский ремень из желтой кожи. Обшаривает мои брючные карманы. Я слабо приоткрываю глаза и промеж чьих-то расставленных ног невдалеке вижу Сахно. Короткое удивление оттого, что и он в плену, на минуту позволяет забыть о боли. Капитан стоит в гимнастерке и тоже уже без ремня. С орденом Отечественной войны на гимнастерке. Подвязку у него, видно, сорвали, и забинтованную в локте руку он притискивает к животу. Его нахмуренный взгляд растерянно бегаёт по немцам. Вид какой-то оглушенный. Но как же это он не застрелился? Он же должен был застрелиться. Ведь не мог же он поднять руки и сдаться в плен.

Я чего-то не в состоянии понять. Очень болит нога. От боли и слабости то и дело мутится сознание. К горлу подкатывает комок и тошнит. Немцы молчат. Молчат те двое, что победили меня в этой войне и выволокли из трубы. Теперь я хорошо вижу их перед собой. Один весь какой-то рыжий – рыжая щетина на щеках, рыжие брови, рыжие, будто даже с золотистым отливом, ресницы. Через плечо у него на неподпоясанную шинель надета чем-то набитая сумка с привязанным к ней котелком. Второй значительно моложе, почти мой ровесник, с прыщеватым лицом и в очках, прикрепленных черными тесемками к ушам. Чуть дальше от них стоит еще один – широкоплечий, в длинной шинели и каске. Флегматичное лицо его едва заметно брезгливо кривится, черная кобура парабеллума на животе расстегнута. Мне кажется, что он тут главный, возможно, офицер. За его спиной выжидающе застыли еще несколько солдат. Никто из них не обращает на меня никакого внимания.

Истерзанный болью, я не сразу догадываюсь, почему они все молчат. Однако какая-то тень, что шевелится рядом на снегу, заставляет меня поднять голову. И тогда несколько в стороне от них я вижу нашего Ангеля, о котором почти уже забыл. Неловкими движениями озябших рук он пытается расстегнуть на себе шинель. Но его пальцы не могут совладать с непривычными для них крючками русской шинели. Лицо у него какое-то растерянное и виноватое. И мне вдруг кажется, что они собираются его расстрелять. Офицер из-под сурово сведенных бровей терпеливо следит за ним. Потом, сделав три шага вперед и коротко размахнувшись, бьет его по обеим щекам. Ангель выдерживает пощечину, не шевельнувшись, как заслуженное. Наконец, с силой дернув полу, выдирает крючок и торопливо сбрасывает с себя шинель. Прыщеватый в очках, поддев ее концом карабина, швыряет подальше в снег. Тонкие губы его кривятся в брезгливой гримасе, будто он прикоснулся к чему-то нечистому.

Кажется, то, что занимало их, кончилось. На минуту я расслабляюсь от непосильного для меня напряжения и перестаю их видеть. Слышу только, как офицер, отчетливо произнося каждое слово, ругается и что-то приказывает. Солдаты, бряцая пряжками, поднимают с земли зеленые ящики на лямках (наверно, инструменты или приборы). Поскрипывая

морозным снегом, ко мне кто-то подходит. Немалым усилием раскрываю глаза. Это Энгель. Теперь он снова в своем мундирчике с отвисшими пустыми карманами. В его виноватых глазах терпеливая покорность и опасение. Один из солдат толкает в спину Сахно. Капитан, видно, не сразу понимает, чего от него хотят. Тогда рыжий бьет его сапогом в зад, и Сахно оказывается рядом с Ангелом. Вдвоем они берут меня под мышки. В моих глазах вдруг темнеет, и я едва удерживаюсь, чтобы не потерять сознание.

Глава тридцать шестая

Около часа я хожу вокруг привокзальной площади и не могу успокоиться.

Над городом – глубокая ночь. Площадь непривычно пуста и огромна. Ровно и дремотно горят вверх матовые шары фонарей. Скамейки на бульваре пустуют. На троллейбусной остановке никого. Пусто и на стоянке такси. Подсознательно я испытываю такое чувство, будто в мире что-то случилось и люди исчезли. Кажется, я знаю, что, только не могу вспомнить. Вообще от пережитого сегодня и от переутомления я стал словно контуженый. Ноет в ремнях протеза остаток моей натруженной голени. Я хожу от фонаря к фонарю. Под каждым на краю тротуара останавливаюсь и с освещенного пятна всматриваюсь в сумерки меж деревьев. Кажется, там кто-то шевелится, двигается, стоит. Я знаю: это лишь кажется – никого там нет. Как нет никого на тротуаре, за витринами закрытых магазинов, в киоске «Союзпечати», на углу и на троллейбусной остановке. Люди отсутствуют, и оставленные ими на ночь вещи продолжают свой привычный дневной порядок.

Особенный интерес вызывают ночью книжные витрины. Целые роты самых различных изданий. Когда-то я очень любил рассматривать их именно ночью. Ночью они выглядят совсем иначе, чем днем. Книги в них в это время как умные люди из жизни. Каждая в себе. Из-за всех стекол киоска они смотрят на меня со скрытым глубокомыслием мудрецов. В каждой – сплав эмоций, свидетельство эпох, концентрация разума. И, наверное, ни в одной – того, что так болит во мне. Они глухи к моим болям, так как каждая полна своих. В них – то, что переболело и ушло вместе с уходом многих поколений. Но в книгах оно не умирает, там оно будет жить долго. И вот через толщи веков, головы исчезнувших поколений человеческий опыт перекидывает свой магистральный мост в будущее. Прежде всего он свидетельствует о непрекращающейся схватке добра со злом. И в этом смысле его урок бесценен.

Правда, зло тоже не дремлет. За многие столетия жестокой борьбы оно неплохо набило свою черную руку на подлых делах и не так уж редко добивается успеха. Медленно отступая и обороняясь, оно еще больно жалит. Порой в самое сердце.

– Который час – не скажете?

Невольно я вздрагиваю, не сразу сообразив, что это – сторожиха. Одетая в грубый брезентовый плащ тетка подозрительно смотрит на меня. Чего-то ждет. Ах, времени! Я поглядываю на руку – половина четвертого.

Тетка не уходит, а прислоняется к железному пруту возле стекла и зевает. Я медленно бреду дальше. В груди, постепенно успокаиваясь, сильнее обычного бьется сердце.

Надо успокоиться. Пора успокоиться. Ничего, по существу, не случилось. Гнал за одним негодяем, напал на другого. Ну и что! Разве их всего двое на свете? Сколько их встречалось раньше и, наверняка, еще встретится в будущем. Протокол? Пустяки, что мне протокол! Попугают – не больше.

Как бы там ни было, я ни о чем не жалею и ни в чем не раскаиваюсь. Правда, я не победил. Он ушел не сломленный и даже не обезоруженный. Упрямой уверенности в своей правоте ему хватит, пожалуй, на всю жизнь. Он не из тех, у кого кровоточат раны совести. Если когда-то и была у него эта совесть, то с годами от нее ничего не осталось. Все его жизненные способности развивались лишь в направлении приспособляемости. Волевое начало подавило все остальные. Жизненным принципом стала сила. Тот прав, у кого больше

прав. У кого сила, тому не нужна правда. Этот конек всегда неплохо вывозил его в жизни и сдал разве что в середине пятидесятых. Но и теперь такие не теряют подленькой жалкой надежды на возврат к старому. Ишь ты, разошелся в гневе. Уже с порога кричал милиционерам: «Распустили народ! Демократию развели! Опытных работников шельмуете! Ждите, припечет – позовете! Снова нас позовете! Да поздно будет!»

Вообще это смешно. Он еще на что-то надеется. Но вместе с тем это заставляет задуматься. Ведь пока они будут лелеять подлую надежду всплыть наверх, в других будет жить страх. Будет таиться, скрываться, чтобы когда-нибудь взять верх. Слишком глубоко и прочно вбита в сознание многих позорная рабская мораль: как бы чего не вышло. И если случится, что где-нибудь слезами обольется правда, разве не подумает кто-то: а не лучше ли пересидеть, промолчать, переждать за углом, отвернуться? А они будут ловить удобный для себя момент. Опыт у них богатый.

Я забредаю в самый темный угол на площади. В густой тени под деревьями на скамейке притаилась пара. Замолчала, насторожилась и ждет. Нет, я туда не пойду. Им нужно уединение, мне тоже. Тут царство покоя и тишины. Тут ночь. А напротив, по другую сторону площади, всеми окнами светится огромное здание вокзала. Пожалуй, там никогда не бывает ночи. Там вечно, доколе жить городу, будет биться его бессонный железнодорожный пульс. Миллионы людей. Столетия. Эпохи. Вулканы людских эмоций – под его стенами.

Сильно ипряно пахнет молодая листва тополей. В переулке на недалекой стройке сверкают отсветы электросварки. Иссиня-холодные всплески света трепетно пульсируют в небе. С бульвара на площадь выскакивает машина «скорой помощи» и, стремительно пересекши ее простор, исчезает за поворотом. Тихие, сдержанные отзвуки жизни наполняют ночь. Нужно только уметь слушать их.

Начинает накрапывать дождь. Со временем он густеет, асфальт пахнет сыростью и пылью, капли мерно барабанят по крыше киоска. Я не спеша иду по краю площади вдоль сквера. Видно, надо возвращаться на вокзал. Рядом за железной изгородью сплошное царство ночи, в нем приглушенный шепот дождевых капель. Поблизости слышится еще шорох газетных страниц – там укрываются от дождя. Упрямая в своей тяге к одиночеству любовь. Зимой, весной, летом. В жару, ночью, в дождь – там пары. И это вечно.

Да, все на земле рождается земными условиями и к этим условиям приспособляется. Время и материя, неумоимо отбирая лучшее, создают жизнеспособное. В природе этот отбор длится миллионы лет. Терпеливый, заботливый, в строгом соответствии с извечными законами бытия. Эти же приспособились за три десятилетия. Теперь все валят на культ. Это верно, культ их породил. Он умело использовал их динамизм для своих весьма неблагоприятных дел. Но и они не бессребреники. Где это было возможно, они тоже старались отхватить от общего пирога куски покрупнее и послаще. Культ с его системой подавления стал их стихией. Он развил их хватательные способности. Другие же за ненужностью атрофировались. И теперь, когда обнаружилась их общественная неполноценность, они удивились: за что? Ведь они так старались!

На вокзале объявляют посадку. В вестибюле и на ступеньках начинается беспорядочная толчея, усиливается гомон. Спешат женщины с сумками. Бредут заспанные дети. Свесив с плеч связанные чемоданы, проталкиваются к выходу дядьки. Лет пяти девочка тащит вслед за матерью всякой всячиной набитую авоську. Мать с узлами в обеих руках сердито покрикивает на нее. Бравый молодой лейтенант бережно ведет под руку согбенную

старушку в плюшевом жакете. В людском потоке медленно пробирается к выходу подполковник в сером плаще. На его плече огромный оранжевый обруч – модное занятие для стареющей где-нибудь в лесном гарнизоне супруги. Обходя встречаемых, я взбираюсь на второй этаж – там теперь свободные скамейки. Неплохо бы подремать. Мой поезд еще не скоро.

Свободных мест тут, однако, немного. У окна в самом углу половина незанятой скамейки, и я с наслаждением вытягиваю ноги. Спину подпирает подлокотник. Не очень удобно, но утомленное тело враз расслабляется. Рядом клюет носом какой-то парнишка в черном пиджачке и клетчатой рубашке. Кепка его уже на паркете, а голова все ниже и ниже клонится к коленям и когда, кажется, прикасается к ним, парень просыпается. Испуганно бросает по сторонам два-три взгляда и снова начинает дремать.

Неизвестно, выжил ли в этой войне Сахно. Хотя такие люди живучи. И если случилось, что он остался в живых, я уверен – он опять тот же. Всю жизнь он совершенствовался в одном ремесле – принуждении – и на другое попросту неспособен. Я знаю, встреча с ним мне тоже не дала бы радости. Он из породы Горбатюков, десять лет для перевоспитания которых – слишком недостаточный срок.

Этот человек всегда был себе на уме. Теперь я понимаю: он вовсе не был кремневым, каким старался казаться, потому что всегда приспособливался. Главным для него было удержаться на середине течения. Что он ни делал, он прежде всего думал о себе – о своей карьере и своей выгоде. Остальное его мало заботило. Я и начальство были для него теми двумя полюсами, между которыми размещалось все мироздание.

Однако я все же устал. Глаза сами собой закрываются, приглушенный гомон как бы усиливается и сосредотачивается в мозгу. Сон не приходит, а тело погружается в немощное оцепенение. Малейшее движение исключается. Только мысли, образы, обрывки неясных фраз роятся в сознании.

А напротив за большим окном шумит напористый майский дождь. Будто очарованная его неумолчным шумом, у запотевшего стекла стоит женщина. Видать по всему – из деревни. Блестящие резиновые сапоги, простенькая измятая юбка, темный поношенный жакет. На голове аккуратно повязан темный с красными цветами платок. Невеселое, сосредоточенное на чем-то своем лицо с сеткой морщин на лбу выглядит немолодым и усталым. Мне думается, что она одних со мной лет или немного моложе и, должно быть, одинокая. Я не знаю почему, но что-то неуловимое выдает в ней многолетнюю горечь неудавшейся жизни. Впрочем, откуда взяться удачам? Где те ее ровесники и ребята постарше, с кем промелькнула ее короткая молодость? Теперь бы им тоже было по сорок, если бы проклятая война не отмерила многим по двадцать. Вечно молодые и неженатые, молчаливо спят они в тысячах братских могил на широких просторах от Волги до Эльбы. И неизбывная тоска тлеет в изнуренных неженскими заботами, до времени постаревших глазах их бывших подруг.

Так, может, мается где-то и Юркина Лида. Помню, с каким нетерпением в училище он выхватывал из рук дневального ее письма, раскрашенные цветными карандашами. Сколько в них было ласки и преданности! Это была яркая и сильная любовь, которой я завидовал и о которой мечтал всю молодость. Где она теперь, его Лидка?

Женщина у окна поправляет на голове платок, запахивает жакетку. Возле ее ног небольшой коричневый чемоданчик. Откуда и куда она едет? Какие судьбы правят ее не очень радостной жизнью? Что вынуждает ее обособиться от людей в этом зале и влечет к

тоскливому одиночеству в бессонной ночи?

Нет, я не хочу видеть Юркину Лиду такой вот сработавшейся на мужской работе, преждевременно постаревшей, с безразличием в уставших глазах. Я не могу это себе представить. Отказываюсь поверить. И не в состоянии избавиться от навязчивых мыслей о именно такой судьбе.

Эх, Юрка, Юрка! Ты – самая большая моя боль в жизни. Ты – незаживающая моя рана. Другие уже все зарубцевались, а ты кровоточишь и болишь, видно, потому, что ты – рана в сердце. Совесть моя подрублена твоей смертью, от которой я не могу оправиться долгие годы.

Да, я виноват тоже. Виноват перед тобой и перед твоей матерью, о которой ты столько беспокоился при жизни. Я не забыл ее адрес, но что я мог написать ей? Каюсь, я долго колебался и года через два после войны послал ей открытку с сообщением, что ты без вести пропал под Кировоградом. Это была маленькая хитрость, которая помогла мне решить, как поступить лучше. Я знал твою мать по письмам к тебе, каждое из которых было на четырех листах и под номером. Я не забыл, как заботилась она о тебе, твоей судьбе. Но я не помню письма, где бы она просила тебя, как другие, во что бы то ни стало сберечь на войне жизнь. Она призывала тебя, когда придет самый трудный твой час, не забыть, что ты комсомолец, и поступить по велению долга. На другое она не могла согласиться.

Вскоре я получил от нее ответ. Небольшой листок, несколько скупых слов материнского утешения... Она писала, что ты геройски погиб на фронте в единоборстве с фашистскими танками. Будто два из них ты подорвал гранатами, а под третий бросился сам и погиб.

Мог ли я после этого сообщить ей всю правду о твоей гибели?

Что ж, я виноват перед тобой и каюсь. Но мы умнее с годами, а воевать нам пришлось почти пацанами. Теперь бы я поступил иначе. Я бы постарался не отдалиться от тебя, как это случилось на том кировоградском переезде. Теперь я понимаю, что по отношению к тебе, раненому, совершил почти что предательство, поддавшись мужественному обаянию Кати и потянувшись за ней, такой независимой и решительной. Наверно, нельзя было оставлять тебя одного и в трубе. Будь я с тобой, я бы раньше понял твое отчаяние и, возможно, оно не оборвалось бы чудовищным выстрелом, на который тебя толкнул Сахно.

Правда, так я рассуждаю теперь. Я жив, и мне обидно, что путаются под ногами Горбатюки и покоятся в земле Стрелковы. Тогда же все было иначе. Тогда я люто тебе завидовал. Если бы ты видел, что было дальше со мной, ты бы простил мне и мою не слишком удавшуюся жизнь, и свою преждевременную смерть.

Да, тогда мне досталось...

Глава тридцать седьмая

Ощущения мои то проясняются, то гложут в тошнотворных провалах сознания. В голове все плывет и кружится. Однако я понимаю, что меня волокут по откосу в гору. Потом моя здоровая нога больно ударяется о рельс. Я касаюсь ею земли и начинаю прыгать по заснеженным шпалам. Каждый прыжок отзывается нестерпимой до отупения болью. Другая, мне уже неподвластная, нога судорожно поджимается и лихорадочно, мелко дрожит.

Мое тело в липком холодном поту. Порой я раскрываю глаза и вижу, как внизу плывут-качаются присыпанные снегом шпалы и два черных рельса с обеих сторон. Рядом мелькают сапоги. С одной стороны кирзовые, потертые на щиколотках, – Сахно, с другой – тупоносые кожаные – Ангеля. Возле них черный приклад карабина, и я догадываюсь: им вооружился мой штрафной конвоир. Значит, его не расстреляют. Это почему-то отзывается во мне удовлетворением, появляется даже надежда: а вдруг он поможет? Если только мне еще можно чем-либо помочь.

Вскоре неодолимая слабость липким туманом заволакивает глаза, и я перестаю видеть. Смутно чувствую, что меня ведут в плен. Ведут два человека, которые менее всего подходят для этого. Действительно, одного сутки назад я сам должен был сдать в плен, а второй... Не хочется даже и думать, кто этот второй.

И вот теперь они – мои конвоиры.

Но зачем я, такой искалеченный, понадобился немцам? Разве чтобы допросить, прежде чем расстрелять? Тогда почему я иду? Пусть убивают сразу. Правда, я всегда хотел жить. И теперь тоже. Если бы только не боль. Даже наперекор боли. Только чем для меня обернется какой-нибудь лишний час жизни? Не худшим ли, чем сама смерть?..

Голова моя раскалывается от путаных мыслей и неодолимых в моем состоянии вопросов. Чего-то очень важного я никак не могу понять. Я только чувствую, что произошло непоправимое. Временами я забываю, где я и куда иду. Невольно кажется, что рядом Катя. Даже слышится где-то поблизости ее голос. Я не могу себе представить, что ее нет и никогда уже не будет... И что навсегда уже ушел из жизни мой Юрка. Я все еще не могу представить себе весь ужас моего положения. Кажется: не сон ли это? Бывало же сколько раз во сне, что попадал в руки немцев, которые даже пытались меня убить. Но затем наступало пробуждение, и все становилось на свои места. Может, и теперь будет так? Вот только невыносимая, нечеловеческая боль! Такая не может присниться.

Надо собраться, сосредоточиться и что-то понять, в чем-то разобраться. Ведь я неплохо разбирался в каверзах, которые иногда устраивала мне жизнь. Дома, в школе, в училище. Правда, тут – война. Огромная, яростная, небывалая на земле война. В ней сам дьявол с Богом самым хитроумным способом все перепутали. Ни одна закономерность тут не является правилом. Самая нелепая случайность порой становится властительницей твоей судьбы. Разберись, что тут надежно и постоянно. И неизменно.

Видно, я все же мог бы что-то понять, если бы не такое страдание. Боль мне не дает ни о чем думать. Она отбирает силы, тисками сжимает сердце. Столько лет тренированное на кроссах и на утренних зарядках сердце. Кажется, никуда я не дойду. Я просто умру на руках конвоиров. На этой железной дороге. В нескольких километрах от Кировограда.

Да, я хочу умереть. Я не хочу идти в плен. Я не буду давать им никаких показаний. Я не хочу и не могу больше страдать. Страдания становятся сверх моих сил. Я даже не знаю, где и

что у меня болит. Боль самовластно хозяйничает во всем теле, неизвестно чего добиваясь. И я завидую Юрке. Ему уже не больно. Он переступил свой последний рубеж и теперь неподвластен немцам. Силы над ним у них уже нет. И смерть начинает казаться мне желанным избавлением. Только где оно, это избавление?

Я раскрываю глаза и дико оглядываюсь. Вокруг простирается степная гладь, прорезанная железной дорогой с рядами телеграфных столбов по сторонам. Мерно и настойчиво гудят провода. Впереди по шпалам шагает немец. Коробка закинутого за спину противогаза лязгает по затвору его карабина. Я поднимаю голову и вижу сведенные челюсти Сахно. Он все еще не стреляется и не убегает. Неужели и он пойдет в плен?

– Убей меня!

Сахно, кажется, даже вздрагивает. Каким-то незнакомым взглядом уставляется в меня. Видно, в эту минуту я ужасен, и в глубине его зрачков мелькает испуг.

– Убей меня! Будь человеком!

Я и сам понимаю нелепость моего требования. Но это кричит моя боль. И мое истерзанное тело. Они самые властные теперь во мне, и я им подчиняюсь. Единственная моя нога подкашивается, и я окончательно повисаю на чужих руках.

Сахно сильно дергает за плечо и, склонившись, дышит предостерегающим шепотом:

– Если что – меня ты не знаешь. Понял?

Ага, теперь он меня уговаривает. Похоже, он уже переиначивается. Остальных уничтожил, а сам медлит. Может, думает выжить?

Сглотнув тугой ком обиды, я дергаюсь в их цепких руках. Энгель что-то недовольно ворчит и поудобнее подхватывает меня за руку. Сахно же одной рукой не удерживает, я падаю на шпалы и лежу, корчась от боли. Сзади раздается суровый гортанный крик. Сахно, пугливо заглядывая мне в глаза, дергает за рукав:

– Ты что? Вставай!

– Не встану! Убивайте! Не встану!

В этом теперь мой выход. Из жизни – в небытие. Другого нет. Пусть стреляют.

Но они не стреляют.

Энгель несколько раз незлобиво дергает за руку, старается подхватить за другую Сахно. Но я настойчиво им не поддаюсь. Тогда напротив появляется тот, в каске. Его взгляд круто упирается в меня где-то между бровей. Сильный удар сапогом в живот прерывает мое дыхание.

– Ауфштэен!^[13]

Нет, уж черта вам, а не ауфштэен. Задыхаясь, я хватаю ртом воздух и, к сожалению, ничего не могу им сказать. Мир снова проваливается в тягучую сумеречную бездну. Частицей сознания я отмечаю, как они хватают меня за руки, за ногу, за рваные полы шинели, и земля подо мной исчезает.

Прихожу в себя также от удара. Кажется, чем-то жгуче-холодным тупо бьют по лицу, и я чувствую себя на скрипучей морозной тверди. Поведя руками, я понимаю, что они бросили меня ничком в снег. Неторопливо и вяло, едва преодолевая слабость, в которой растворяется боль, поворачиваю голову. Подо мной наезженная зимняя дорога, ноздреватое желтое пятно лошадиной мочи, натрушенные клочья сена и рядом ноги. Много ног в сапогах, ботинках, коротких кожаных и матерчатых крагах. Двое в валенках. Ближе других узнаю выскользненные в снегу «кирзачи» Сахно. На их кожаных головках пятна крови. Кажется, это моя кровь. Однако немецкая речь заставляет меня взглянуть дальше, и мой взгляд

упирается в узенькую, грязную снизу подножку «опеля». Один ее край украшен блеклой полоской никеля, конец пригнут случайным ударом. На середине подножки шаркает подошвой хорошо начищенный хромовый сапог.

С усилием я перевожу взгляд выше, догадываясь уже, что это – начальство. И действительно, в машине какой-то важного вида офицер. Пожилой, худощавый и даже в сидячем положении очень прямой. На голове высокая фуражка. Выбритый подбородок лежит на меховом воротнике кожаного реглана. Глаз не видно, вместо них блестят стекла пенсне. Впервые вижу такого важного немца, но теперь он мне безразличен. Мне плевать на его высокий чин. Я ему сразу же это и скажу. Рисковать мне уже нечем.

Но почему они все молчат? Молчит чин. Молчит, «поедая» его взглядом, знакомый офицер в каске. Вывернув от себя локти, он навтыжку стоит перед машиной. И я думаю: может, они решают нашу судьбу?

Напряжение мое кончается. Я без остатка выдыхаю грудью и закрываю глаза. Снова все подо мной плывет и кружится. Последним усилием воли удерживая себя в сознании, думаю: почему я не скончался дорогой? Зачем я живу? Я знаю, они будут допрашивать. Им нужно что-то узнать, и потому они ведут нас обоих. Второй – для контроля. Для того они приволокли нас в село. Это – улица. В морозном воздухе пахнет мешаниной дымов – бензинового и от соломы. Слышится далекая стрельба, гомон и топот ног. Рядом идут и бегут солдаты. И вдруг в этой сумятице звуков я начинаю различать настырный воздушный гул. Так вот почему они замолчали: в небе летят наши. Это штурмовики, наши родные «ИЛы». Они идут сюда! Они устроят им кровавое воскресенье.

Напрягшись от боли, я переворачиваюсь на спину. В глаза ударяет пронзительная яркость неба. До боли в глазах я всматриваюсь в белесую дымку. И напрасно. Там пусто. Только внизу тычки неподвижных голов – в пилотках, в шапках, в касках. Они также устали в небо. Самолетов нет. Есть только гул. Гудит где-то поблизости. И этот гул на минуту возвращает мне силы. Я рад, что еще живу. Я еще поборюсь с ними. Я им ничего не скажу. Не на того напали! Я плюну в глаза этому оберсту, или как там его величать. Пусть стреляют!

Однако гул скоро гложет. Видно, самолеты проходят мимо, куда-то в другую сторону. Короткая радость моя сменяется немым внутренним стоном. Я едва замечаю, как их лица уже не задираются в небо. Они поворачиваются к легковушке. Немец в машине сбрасывает с себя неподвижность, щелкает портсигаром, деловито прикуривает. Худые щеки его то проваливаются, то снова полнятся, и подбородок опускается на мех воротника. Он что-то приказывает.

– Яволь! Яволь! – щелкает каблуками офицер и коротко, скороговоркой докладывает. Кажется, это о нас («Вас махен цвай рус офицерен?»).

Вот когда все решится. Взглядом я впииваюсь в бритое холодное лицо. Сейчас он определит нам кару, прикажет, чего от нас добиться и как расстрелять. Или, может, даже повесить. Но он почему-то не спешит. Тонкими губами стискивает сигарету и небрежно машет рукой в серой перчатке.

Я не понимаю. Что это значит? Расстрел? Или, может, вести дальше по улице? Видно, чего-то не понимает и офицер в каске. Во всяком случае, я не слышу его «яволь». Я только вижу, как, сыпанув снегом, подхватывается в колее колесо. На ходу бряцает дверца.

Офицер круто оборачивается к солдатам и уже другим тоном – зло и решительно – что-то приказывает. Все слушают. Потом разом берут оружие и имущество, что лежит на

обочине. Снова звякают пряжки и застежки их желто-зеленых ящичков. Резко скрипит снег. Кто-то сильной рукой хватая меня за шиворот и ничком, как собаку, волочит поперек улицы. По снегу, через колеи, разгребая моим телом мерзлые конские катыши. Крючок шинели впивается мне в горло, я задыхаюсь. Я не знаю, куда это? Но я не хочу тут умереть. Я хочу еще побороться с ними. Они меня обрекли, но за мной еще последнее слово. Боже, дай мне еще час жизни! И силы! Я никогда не верил в Бога, однако теперь он мне нужен. Хоть настоящий, хоть выдуманный. И я умоляю его помочь мне.

Рядом скрипят на снегу окостеневшие от мороза сапоги, движется мимо плетень, калитка, брошенная пустая канистра и прислоненная к завалине автопокрышка. Возле нее охапка соломы, на которую они меня и бросают. Ударившись головой о тугую резиновый бок покрышки, я не сразу открываю глаза. Лежу как пласт, от боли закусив губу, и дрожу. Рядом, слышу, опускается на завалинку и также дрожит от стужи Сахно.

Глава тридцать восьмая

Проходит, видно, немало времени, пока я, притерпевшись к боли, раскрываю глаза. Во дворе шум.

Хата, возле которой мы оказались, пустует. В выбитых окнах торчат осколки стекла. Дверь – настежь. Немцы все во дворе. В полах шинелей они приносят откуда-то сухой паек и принимаются за обед. На тех же составленных ящиках делят галеты и отдельно консервы. Оставив нас без всякого внимания, они толпятся на середине двора и дружно разбирают свои порции. Энгель там тоже. Как равный с равными. И, кажется, никто ему ничего не говорит, ничем не упрекает. Будто и не было у него ни плена, ни контакта с русскими. Будто он такой же верный служака фюрера, как и все прочие тут. Он забирает с ящика свои галеты, и вдвоем с рыжим, что выволок меня из трубы, они одной ложкой поочередно начинают выскребывать консервную банку. Сахно, скорчившись на завалине, зорко следит за ними исподлобья и ежеминутно глотает слюну. И дрожит. А я уже не дрожу. Я медленно и неотвратно замерзаю. Ног своих я уже не чувствую. Чужие для меня и руки, на которых давно нет рукавиц. И еще нестерпимо хочется пить. От потери крови внутри у меня все сохнет и жжет. «Ну где же, где их начальство? Неужели никому здесь мы не нужны?» – уныло думаю я и жду, когда кто-нибудь наконец подойдет.

И он подходит. Молодой, вполне симпатичный с виду солдат с насмешливым взглядом голубых глаз. Шагнув от ящиков, дожевывая галету, он распахивает полы шинели. Делая свое дело в двух метрах от завалины, немец невзначай встречает мой взгляд. Я жду злого слова, ругательства, может, и выстрела, а он вдруг озорно вихляет задом. Рыжая струя перечеркивает рядом снег, мелкой дробью пробегает по моей спине – раз и второй. Немчик довольно ржет, застегивается и отворачивается, поправляя на спине автомат.

Первый раз я не могу сдержать стона. От мук другого рода, чем те, что донимали меня прежде. Это ни с чем не сравнимые муки. Их нельзя понять, не стерпев хоть однажды, В отчаянии передо мной всплывают из памяти все мои фронтовые неудачи. Как я стрелял из «дегтяря», впопыхах не поставив на планке прицел, и десяток немцев успели скрыться в траншеях. И как мы под Знаменкой промедлили с атакой и дали их машинам выскочить из села. И тот вечер, когда мой взвод захватил шестерых пленных. У ребят были мокрые валенки, но я не разрешил им разуть немцев, обутых в исправные кожаные сапоги. Если бы тогда знать, что ждало меня в будущем!

Но, видно, все мои муки напрасны. Ни одного из них я уже не убью и ничего им не сделаю. На меня им наплевать. Они уходят. Дожевывая хрустящие галеты, они поудобнее прилаживают на спинах сумки, противогазы, закидывают на плечи оружие и один за другим выходят на улицу. На нас даже ни один не глянет. Во дворе остаются знакомые ящики и возле них трое: наш Энгель, молодой очкарик и еще один, новый. Он с въедливыми темными глазами и ефрейторским шевроном на рукаве. Судя по всему, этот здесь старший.

Я уже не знаю, что и думать. Обидно погибнуть, как гибнет подстреленная собака. До ночи, пожалуй, мне не дожить. А она совсем близко. Солнца в небе уже не видно, в прозрачные синие сумерки медленно погружается земля. Под крышами густеет мрак. Все настойчивее властвует под шинелью мороз. Кажется, ночь обещает быть звездной и лунной, как и вчера. Только мне ее уже не увидеть.

Немцы, усевшись на ящиках, курят. И молчат. Вижу – чутко вслушиваются в звуки,

которые долетают сюда с окраины села. Однако те, кого ждут, наверно, задерживаются. На улице становится пусто. Немцы уже выехали отсюда. Чего же тогда ждут эти трое?

И тут у меня появляется нелепая мысль: а может, они ждут наших? Чтоб сдаться! И спасти нас!.. Тут же я, однако, понимаю: глупая надежда. Не для того они оставлены. Да и Энгель, подлюга, даже не подойдет ни разу. Ни разу не взглянет на нас, точно боится. Но ведь совсем недавно еще не боялся. А я так хочу попросить у него воды... Кажется, только бы напиться, а там можно и умереть. Зато Сахно как-то неестественно оживает. Будто наконец преодолевает в себе замешательство, которое владело им с начала пленения. Он позволяет себе встать с завалины и начинает часто приседать – греться. И на него не кричат. Только очкарик что-то ворчит, но ефрейтор помалкивает, и тот тоже смолкает, Сахно, усевшись, громко стучит сапогами. Мерзлая земля тупо дрожит под ним и болью отдается во всем моем теле.

Окоченевший и обессиленный, я не сразу замечаю, как с этой дрожью сливается дальний знакомый треск. Я только вижу, как все трое немцев враз поворачивают головы. Очередь повторяется раз, второй, третий. Немцы вскакивают. Двое коротко поглядывают на ефрейтора, и снова все втроем слушают.

Неужели наши? Мне даже не верится. Неужели возможно спасение? Сахно снова замирает, сведя на переносье широкие брови. Мне кажется – это «максим». Нет, пожалуй, скорее похоже на танковый. Только какого танка?

Очереди, однако, умолкают. Ефрейтор тихо ругается и вынимает из кармана круглую, точно гусиное яйцо, с ободком поперек гранату. Попробовав чеку, планкой цепляет гранату за ремень.

– Их коме бальд!^[14]

Он куда-то торопливо уходит со двора. Энгель и очкарик снова садятся на ящики. Энгель, понутив голову, начинает ковырять прикладом в снегу. Очкарик то всматривается в огороды с вишенником, то оглядывается на улицу. Видно, он побаивается. Сахно снова осторожно начинает разминку. Я уже не могу терпеть. Жажда, кажется, добьет меня раньше, чем это сделают раны и мороз.

– Энгель, – говорю я и не узнаю своего ослабевшего голоса. – Энгель! Вассер! Тринкен вассер!

Энгель чуть ли не в испуге вскидывает голову.

– Вассер! Ферштейн? Вассер!

– Швейг! Вассер никс!^[15] – говорит очкарик.

Энгель, вижу, в задумчивой нерешительности смотрит на меня. На фоне вечернего неба выражение его лица от завалины почти не просматривается.

– Вон же колодец! Дай воды, если ты человек! – показываю я на улицу. Там под заснеженной крышей вытянул шею колодезный журавль.

Энгель встает и нерешительно топчется возле ящиков. Оглядывается. Прислушивается. На одном ящике сумка, и возле нее плоский котелок – видно, ефрейтора. Энгель отстегивает котелок и, еще немного прислушавшись, идет к воротам. Карабин он держит под мышкой. Очкастый, сидя на ящике, поворачивается к нам всем телом и с лязгом взводит затвор автомата.

– Швейг!

Сахно садится. Тихо про себя ругается. Немец на это не обращает внимания. Он слушает. Я вслушиваюсь также.

Кругом все тихо. Но издали все же доносятся звуки. Их не сразу и поймешь. Не то крики, не то топот множества ног. Кони или люди? Но выстрелов нет. Гремит где-то артиллерия, только это в другой стороне и далеко. А переполох – за селом. Не больше, чем в километре отсюда.

Проливая из котелка воду, во двор входит Энгель. Значит, все-таки еще человек, думаю я. Мое представление о немцах несколько поколеблено. Я уже склонен думать, что среди них бывают разные. И так себе. И ничего. И сволочи. Впрочем, как и у нас. И, пожалуй, как всюду. Люди есть люди. В общей своей массе – не плохие и не хорошие – разные. Он протягивает мне котелок. Я приподнимаюсь. Одной рукой беру его снизу. В голове шаткая карусель.

И тут за спиной – тяжелый топот бегущего человека. Что-то случилось. Но я не обращаю внимания. Я пью. Хоть бы взрыв – прежде чем умереть, я напьюсь. Но раздается немецкая ругань. Бешеный удар сапога выбивает у меня котелок. Звякая, тот катится по двору. Второй удар – в ухо – получает Энгель. Во дворе беснуется ефрейтор. Захлебываясь, он выкрикивает ругательства.

Гневная обида затмевает мое сознание. Я хочу пить. Но, кажется, уже не напьешься. Энгель виновато моргает подслеповатыми глазами. Ефрейтор что-то кричит, размахивая перед ним кулаком. Очкарик берется за ящик. Сердце мое рвется из груди – я чувствую, сейчас произойдет что-то решающее.

Вскоре они все хватают ящики. Ефрейтор, ругаясь, бежит к хлеву за своим котелком. Очкарик один ящик взваливает на спину, второй – продолговатый и чуть поменьше – берет за ляжку. Самый большой взваливает на плечи Энгель. Торопливо цепляет на себя почти кубической формы зеленый ящик ефрейтор. Но на снегу остается еще два. Ефрейтор запыхавшись, оглядывается на нас. И тогда – о чудо! – с завалинки вскакивает Сахно. Я даже не понимаю куда. Видно, не понимают этого и немцы. А он без единого слова хватается за ящик, второй и оба вскидывает ремнями на свое правое, здоровое плечо. Ефрейтор удивленно раскрывает рот, а потом с силой хлопает его по спине:

– Гут, капитан!

И хохочет.

А я перевожу взгляд вверх. Я не удивляюсь и не возмущаюсь. Чувства мои уже мало на что и реагируют. Я уже все пережил. Я только гляжу в небо.

Там прорезалась и блестит маленькая одинокая звездочка. Она, пожалуй, как раз над Кировоградом, до которого я не дошел. Как не дошли многие. Интересно, сколько тысяч живет в этом городе? Получится ли хотя бы по одному на убитого. Было бы здорово на минутку взглянуть на его улицы. Наверно, когда-нибудь там будут цвести цветы, зеленеть тополя. И на бульварах будут гулять девушки. Ребята будут поступать в вузы и увлекаться футбольными матчами. Звездочка в небе вздрагивает и раскалывается на две и три. Туманом завлакивает взгляд. Это мороз. Он, кажется, меня добивает. Видно, скоро меня не станет. А Сахно будет жить. Будет. Он уже преодолел свой шок. И я думаю: недаром говорят, что война любит смекалку. Кто раньше смекнет, тот и победит. Он смекнул вовремя. Там он был образцовый особист. Тут будет образцовый пленный.

Все остальное доходит до меня будто с другого света. Немцы торопливо закуривают и выходят за ворота. Я все это слышу. Но я вижу только ту малюсенькую звездочку в далекой зеленоватой голубизне. Она мелькает, прыгает, рассыпается на две, четыре и колючими осколками сверкает в высоте. Веки мои смерзаются, и я закрываю глаза.

Кажется, немцы меня оставляют.

Однако в воротах они вдруг задерживаются. Слышится голос ефрейтора. Сначала тихий, потом приказной, властный. И сразу же резкий скрип сапог.

Я открываю глаза.

Сгорбившись под ящиком на спине, надо мной стоит Энгель. Он нерешительно, словно боясь, заглядывает мне в лицо. Взгляд у него испуганно-настороженный. И я вдруг догадываюсь, зачем он вернулся. Я знаю! Иного я и не ждал.

Но почему Энгель?

На руках я откидываюсь к завалине. Упершись каблуком в землю, поворачиваюсь к нему лицом:

– Ты?

Энгель отступает на шаг и дрожащими пальцами берется за рукоятку затвора. Он с усилием загоняет в патронник патрон и бормочет:

– Эс тут мир зер ляйд...^[16]

Я понимаю. Он просит извинения. Это чудовищно. И невообразимо. Это ужасно. Видали ли вы этаких убийц? Читали ли о них в книгах?

– Эс тут мир зер ляйд. Абэр их хабе айнен бефэль!^[17]

Да, конечно, он имеет приказ! Это уже знакомо. Это безусловно.

Ну что ж! Надо кончать. Мне нечего плакать. Тщетно также просить. Руками я распиная на груди шинель. На, стреляй, гадина! Целься в самое сердце. Чтоб долго не мучиться! Мне уже не вмоготу эти муки.

– Беайльт ойх!..^[18] – кричит с улицы ефрейтор.

Оказывается, они пошли. Ему теперь их догнать. Они спешат. Может, через час тут будут наши? Эта мысль переворачивает во мне все. До слез становится обидно.

– И ты меня убьешь? – кричу я в растерянные подслеповатые глаза Ангеля. – Ты в меня выстрелишь?

В моей душе вдруг вспыхивает слабенький отблеск надежды. Я же его не убил. Я его защищал. Неужели он не вспомнит этого?

На одном колене я подаюсь от завалины к Ангелю. Он на шаг отступает. Похоже, он боится меня и почему-то оглядывается. Глаза его округляются. Рукой он снова дергает рукоятку затвора. Из карабина туго выщелкивает патрон и падает в снег.

– Их хабе айнен бефэль! – дрожащим голосом, словно оправдываясь, говорит он и быстро отступает еще на два шага.

Выстрел, как гром, пахнув в лицо красным пламенем, валит меня на снег.

Какое-то время затем я еще чувствую звучные удары под собой – дуг-дуг-дуг... Я не знаю, что это – его шаги или замирающий стук моего сердца. Постепенно они затихают...

Глава тридцать девятая

– Гражданин! Гражданин! А ну встаньте!

– Что разлеглись? Не дома!

– Вставайте! Сейчас же встаньте!

Между скамеек ходит дежурная с красной повязкой на рукаве, и с ней милиционер. Они будят пассажиров, так как спать в зале не разрешается. Женщины, мужчины и парни, кряхтя и сопя, поднимаются. На их сонных лицах крайняя степень неудовлетворенности.

После бессонной ночи тупо болит голова. Надо бы таблетку пирамеина, но аптечный ларек, конечно, еще закрыт. В огромных вокзальных окнах – прозрачная синева рассветного неба. Начинается погожее утро.

Парня на скамейке возле меня уже нет, наверно, отправился своей дорогой. На его месте сидит знакомая женщина в цветастом платке. Подперев рукой щеку, она сосредоточенно смотрит в пол. Видно, также не вздремнула за ночь. Из другого ряда скамеек к нам забредает ранний на подъем малыш с побрякушкой в руках. Широко расставив искривленные ножки, доверчиво всматривается в меня, затем смотрит на женщину. Выражение лица у той не меняется. Малыш, неловко повернувшись, торопливо убегает за скамейку. Нас он побаивается.

1).

Мне больше тут не сидится, и я иду к двери.

На площади еще по-ночному прохладно и пусто. Фонари уже не горят. В чистом просторном небе над городом почти уже светло. Вот-вот должно взойти солнце. Напористый майский дождь быстро пронесся по улицам, крышам и бульварам, оставив после себя ароматную свежесть утра, мокрую листву и зеркальные лужи-озерца на асфальте. Лужи быстро округляются – сохнут.

Резкий скипидарный запах тополей наполняет сквер. Весенней сыростью и прелью пахнет набрякшая влагой земля. С ночи листвы на деревьях будто прибавилось, и она густо зеленеет, отрясая на землю холодные крупные капли. На пустой крайней скамейке – просиженная мокрая газета. Я опускаюсь рядом.

Энгель все же оказался нерадивым солдатом фюрера. В своей усердии выполнить приказ он поспешил. То ли из-за нежелания отстать от своих. То ли из-за боязни наших, которые где-то обходили село. Или, может, питая какое-то подспудное сочувствие ко мне. Не очень целясь, он выстрелил всего один раз. А надо было бы два. Один выстрел меня не убил. Только на многие годы наделал заботы докторам. И если я сейчас жив, то земной поклон их золотым рукам и их многотрудным заботам. Но наипервейший поклон тетке Гарпине. Это она, пожилая сельская бобылка, не дала мне изойти кровью и замерзнуть. Ее руки задержали во мне крохотные остатки жизни, хоть это было не просто. И теперь вместе с ненавистью к подлости в моей груди живет великая любовь и благодарность к милосердию чуткой женской души, так часто отводившей от нас погибель.

Широкие косые лучи невидимого за домами солнца зажигают в вышине небо и оно горит, сияет, звенит первозданной утренней свежестью. Кошмарно долгая ночь позади, и я думаю: какой удивительной силой обладает утро! Восходит солнце, и все на душе просветляется. Куда только деваются ночные терзания; утром все видится намного проще и легче, чем представлялось ночью. Огромным зарядом бодрости утро преображает человека.

Правда, в войну все было иначе. Утро и день редко приносили радость солдату.

Струи свежего воздуха легко и сладко вливаются в мою грудь. Мне хорошо. И даже неизвестно почему становится радостно. Может, оттого, что я вот, несмотря ни на что – живой. Хоть и с протезом вместо левой нога. С не так давно залеченным очагом в легких. Растеряв по больницам молодость, недоучившись, недолюбив. С двадцати лет инвалид. И все-таки жизнь – главное. Только в ней – счастье и беда, наказание и награда.

С привокзальной площади в сквер входит молодая пара с вещами. Впрочем, вещей немного: у высокого длиннорукого парня – чемодан с металлическими наугольниками и пальто. У нее – маленькой и остроносенькой, с виду совсем еще девчонки – громоздкая дорожная сумка. Из-под простенького поношенного плащика сильно выдается живот. Щеки и переносье густо усыпаны веснушками.

– Вот давай тут и присядем, – говорит она, ставя на скамейку напротив сумку. И вдруг спохватывается: – А где твоя куртка?

Он, угловатый и неуклюжий, недоуменно оглядывается.

– В зале оставил! – догадывается парень и опрометью бросается из сквера.

– Маша ты растеряша, – смеется она вдогонку. Потом садится рядом с вещами. Заметив мое к ней внимание, торопливо запахивает полы тесного на ней плащика. – Такой забывака – страсть!

– Ничего, привыкнет, – говорю я.

– Третий раз уже забывает. В деревне у моих оставил, когда отъезжали. Потом в автобусе забыл. Прямо беда. Как профессор какой, – добродушно усмехается она.

– Далеко едете?

Она враз становится серьезной и легонько вздыхает.

– Ой, на целину едем. В Кокчетав и дальше еще километров двести. Первый раз из дому – прямо страсть. Говорят, там ни деревца нет, а я так лес люблю. У нас такие леса... Вот поехала и все сомневаюсь: а вдруг плохо будет.

– А он как? Хороший?

– Кто? Сашка-то? – Она смущенно улыбается, и серые глаза ее наполняются теплым светом. – Он хороший, – говорит она нараспев. – Шебутной только. После армии на целину завербовался, комбайнером. Вырос в степи, так уж больно простор обожает.

– Тогда ничего. Привыкнете. К степи, разумеется.

– Правда? Ну что ж! Как-нибудь надо. Семья ведь теперь...

Она вздыхает и нетерпеливо поглядывает в сторону вокзала, откуда с курткой в руке уже бежит ее рассеянный избранник.

Минуту спустя они устраиваются на скамье завтракать. Она деловито достает из сумки еду. Чтобы не смущать их, я отворачиваюсь. Мимо по дорожке сквера, полязгивая каблучками кирзачей, проходит солдат. Очень спешит, наверно, опаздывает из увольнения. Щеки его покраснелись, лоб мокрый. Тихо переговариваясь о чем-то, соседи мои начинают завтракать. Я слышу, он ее называет Катюшей, и мне очень невтерпеж обернуться. Но нет, я знаю, той Кати не будет. Это другой человек, иная судьба. Впрочем, что ж – жизнь продолжается.

Я гляжу в дальний конец сквера, где появляется еще одна пара. Тесно прильнув друг к другу, они медленно идут к последней в ряду скамейке. Он бережно укрывает ее своим пиджаком. У самого плечи облегает мокрая рубашка. Но что там рубашка, если темноволосая головка так преданно и счастливо льнет к плечу. Глядя на них, я слушаю

быстро удаляющиеся солдатские шаги и думаю: этим ребятам принадлежит будущее, и в том их преимущество.

Пусть же они будут счастливее нас.